



МИТИН ЖУРНАЛ
KOŁONNA PUBLICATIONS

СЕРИЯ
Crème de la Crème
ЯВЛЯЕТСЯ
СОВМЕСТНЫМ ПРОЕКТОМ ИЗДАТЕЛЬСТВ
Kolonna Publications и Митин Журнал

ББК 84 (4Вел)

В оформлении обложки использован рисунок Эрика Стен-бока, выполненный для первого издания «Этюд о смерти».

ISBN 5-98144-048-1

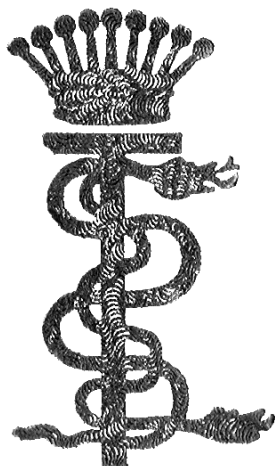
©Митин Журнал, 2005
©Kolonna Publications, 2005
©Валерий Вотрин, 2005
©Сергей Трофимов, 2005
©David Tibet, 2005
©Jeremy Reed, 1999
©Durtro Press, 1998, 2001, 2002, 2003

Руководство изданием: Д. Боченков
Обложка: В. Горбунова
Верстка: Е. Антонова

Эрик Встенбок

ТРИУМФ ЗЛА

*Выбрание романтических историй
под редакцией Дэвида Мидета
и Дмитрия Волчека*



РУССКИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЭРИКА СТЕНБОКА

Граф Стенбок (1860-1895) происходил из шведско-немецкой аристократической семьи, владевшей обширными поместьями в Эстонии, но почти всю сознательную жизнь провел в Лондоне. Как писатель он примыкал к кругу Оскара Уайльда, среди своих друзей числил Обри Бердслея и покровительствовал художнику-прерафаэлиту Симеону Соломону (чью творческую карьеру сломал арест в лондонском туалете по обвинению в содомии, после чего художник скатился к хроническому алкоголизму).

За время жизни Стенбок опубликовал три сборника меланхолической, декадентской поэзии: «Любовь, сон и мечты» (1881?), «Мирт, рута и кипарис» (1888) и «Тень смерти» (1893); том того, что он назвал «романтическими историями», «Этюды о смерти» (1894), рассказ об оборотнях «Та сторона» (опубликован в 1893 году в журнале «Спирит Лэмп», который издавал лорд Альфред Дуглас), а также переводы двух новелл Бальзака в антологии «Новеллы Бальзака» (1890). Поэзия и проза Стенбока при жизни не встретили никакого отклика. Считается, что большая часть тиража его книг была уничтожена родственниками и друзьями после его смерти, случившейся во время процесса Оскара Уайльда. Книжки его сейчас стали настоящими раритетами. В моем издании «Собрания стихотворений графа Стенбока» (Дартро, 2001) я перечисляю все известные мне сохранившиеся экземпляры.

Гомосексуал, он пристрастился к алкоголю и опиуму и, по слухам, всюду брал с собой деревянную куклу в человеческий рост, которую называл своим сыном. Стенбок развивал религиозно-художественную эстетику, основанную на католицизме, ориентализме, опьянении чувств, любви к молодым мужчинам и садомазохистских импульсах. Тимоти д'Арч Смит в своей основополагающей книге об уранистском движении в английской поэзии, «Любовь в залог», пишет о стенбоковском «вожделении к

юношам и болезненной жажде смерти как средству освобождения от психологического напряжения... Но ни один юноша не задушил Стенбока в порыве страсти, а сам граф ни у кого не высасывал кровь. Вместо этого опиум и алкоголь, способствовавшие развитию его маний, подрывавшие его здоровье, подстегивавшие его навязчивые идеи и питавшие горячий мозг, ускорили его конец». «Ученый, знаток, пьяница, поэт, извращенец, обаятельный человек» (слова У. Б. Йейтса, с которым он был хорошо знаком), Стенбок умер пламенным католиком и был похоронен в Брайтоне, Сассекс.

Моя одержимость Стенбоком началась с приобретения надписанного экземпляра «Этюдов о смерти», и с тех пор я переиздал все, что было им опубликовано, вместе со многими неопубликованными произведениями, в своем издательстве «Дартро». Сейчас я составляю «Собрание сочинений графа Стенбока», в которое войдут все написанные им произведения, а также множество фотографий и доселе не публиковавшихся биографических сведений. Я очень рад, что собрание новелл этой значительной и до сих пор недостаточно оцененной фигуры, наконец, пришло и в Россию, чей язык Стенбок хорошо знал и где часто бывал.

Бог есть любовь.

Дэвид Тибет, Лондон, 14 августа 2004 года

СТО ЛЕТ ОТСУТСТВИЯ

Что заставило меня, спустя сотню лет после его смерти, заняться необычной, порочно-декадентской фигурой графа Эрика Стенбока, умершего в возрасте 35 лет 26 апреля 1895 года, в первый день процесса Оскара Уайльда? Сексуальные наклонности самого Стенбока также подлежали судебному преследованию, столкнусь он с законом, однако все, что касается его жизни, ускользает от биографического исследования, как и его книги, почти дематериализовавшиеся и ставшие раритетами. Стенбок и его проза превратились в экстравагантный вымысел.

Выраженная женоподобность Стенбока, его саморазрушительное тяготение к алкоголю и наркотикам, эксгибиционистские наряды, культивирование мистицизма, унаследованные им поместья в Эстонии, домашний зверинец — всем этим Стенбок заслужил себе место в романе Гюисманса «Наоборот», этом собрании патологических невротизмов *fin de siècle*.

Его собственное поэтическое дарование было невелико, а прозаические таланты автора готической прозы о вампирах сводятся к единственному прижизненному сборнику «Этюды о смерти», появившемуся в 1894 году, за год до кончины автора. Зачарованность Стенбока вампирами, оборотнями и прочим инструментарием мира ночных кошмаров происходила не только от чтения Бекфорда, По и Ле Фаню, но из особого состояния ума, подпитываемого наркотиками и ярким воображением. Стенбок, похоже, проявлял симптомы патологической истерии; его поведение носило черты параноидальности, хаотичности, непредсказуемости, с периодическими вспышками насилия. Меня он интересует потому, что являет собой пример экстремальных состояний рассудка и, не будучи романистом, воплощает те черты растревоженного ума, которые так занимали в то время Уайльда, Гюисманса и Рашильда. Можно сказать, что Стенбок избрал участь вымысла.

Кем были люди, видевшие Стенбока на улице? Он привлекал к себе внимание: какова же была их реакция? Трансвестизм был, по-видимому, способом его самовыражения. Его обесцвеченные волосы достигали плеч, он носил яркие шелковые сорочки и восточные наряды, красил ногти, сильно душился и обвешивался драгоценностями, он брал себе в спутники куклу размером с человека, он был постоянно под кайфом и, получив в 1885 году наследство, не стеснялся выставлять свое богатство напоказ. При этом он часто, не таясь, появлялся в Лондоне, — известно, что он познакомился с одним из своих друзей, Норманом О'Нилом, на Пикадилли, на верхнем этаже омнибуса. Не подлежит сомнению, что Стенбок часто рисковал и, подобно Уайльду, «пировал с пантерами». Он жил под углом к обществу, ведя преимущественно ночной образ жизни. Опиумом он увлекался скорее серьезно, чем для расслабления, и курил его с соблюдением ритуалов; его печень была пропитана спиртом. Он сжигал себя намеренно и последовательно, на манер какой-нибудь Билли Холидей.

Но Стенбок интересен не просто сознательным саморазрушением. Декаданс в Лондоне и Париже времен *fin de siècle* не был повальным способом самовыражения, как ныне принято считать. Скорее его культивировал ограниченный круг выдающихся личностей, окрасивших своим влиянием большую часть авангардистских движений двадцатого столетия. Жизнь Стенбока обращает на себя внимание аутсайдерством, неизбежными трудностями, с которыми художник сталкивается при попытке существования в альтернативной реальности. Им был создан мир, единственным обитателем которого был он сам. Стенбок всячески культивировал существование в измененном состоянии сознания; в своем эстонском имении Калк, где он провел два года после того, как поместье отошло к нему, у него была любимая обезьянка по кличке Троша, носившая алую шаль, и питон, которого кормили живыми крысами, по гостиней ползали черепахи; этот зверинец дополняли различные виды жаб, ящериц и саламандр. Облаченный в зеленый костюм и оранжевую шелковую сорочку, Стенбок

возлежал в своей переливчатого синего цвета спальне, куря опиум. Жизнь его можно рассматривать как символическую аффектацию, как подготовительную инициацию к созданию произведений, которые сам он был неспособен понять. Бодлер писал, что курильщика опиума зачаровывают свободно возникающие образы, постепенно замещая желание писать. Поэзия становится невидимым подтекстом для любителя опиума, пассивно наблюдающего за своими внутренними состояниями.

Когда же Стенбок действительно садится писать, когда он чувствует необходимость проявить внутренние феномены, его сочинения поражают причудливостью восприятия. Внутреннее и внешнее всегда далеко отстоят друг от друга, их разделяет хорошо заметный шов, знак творческого напряжения. Взять хотя бы отрывок из рассказа «Правдивая история вампира»:

Внезапно в комнату вбежал Габриэль; в волосах его запуталась желтая бабочка. В руках он держал бельчонка и был, как обычно, босоног. Незнакомец поднял взгляд на брата, и я увидела его глаза. Они были зеленые и словно бы расширились, выросли в размерах. Габриэль застыл перед ним, точно птичка, загипнотизированная змеей.

Здесь переключка между воображением и физическим описанием совершенно непринужденна. Вряд ли желтая бабочка запуталась бы в волосах Габриэля, но мы допускаем это, ибо образ его, с бельчонком в руках, кажется трогательным и естественным, а Стенбок-прозаик хорошо приспособился к области растяжения, создаваемой столкновением сгущенной реальности с физическим описанием.

Стенбок — бодлерианец в том понимании, что связь его с материальным миром некрепка, и он воспринимает этот мир через чувственные ассоциации. Его сочинения необузданно гомосексуальны в противовес иносказательному порицанию того времени, в какой-то мере его сдерживало отсутствие прямой референции в том смысле, что он вынужден был умирить свой эмоциональный заряд при столкновении с общественными

излияниями. Его стихи полны шрамов от ожогов, как если бы его притягивала мысль о воздаянии за сексуальные наклонности:

*Мечтаю, чтоб нежное тело твое
Обуглилось в адском огне;
И хор адский грянул — желанье
Себя исчерпало вполне.*

В Лондоне Стенбок жил в доме № 11 по Слоан-террес, а позже — в доме № 21 по Глостер-уолк, на вершине Кэмден-хилла. Едва ли он бывал в Лондоне днем, хотя и свел шапочное знакомство с поэтами-декадентами и периодически делился деньгами и кровом с неудачливым художником Симеоном Соломоном. Он вел ночной образ жизни, как персонаж из песни Шарля Азнавура «Вчера, когда я был молод». По природе он был отшельником и знал, что жжет свечу с обоих концов. В надежде замедлить саморазрушительную инерцию Стенбок окружил себя миром искусственной, ритуализированной роскоши. Есть свидетельства, что обед ему подавали в закрытом гробу, что в его доме между бюстами Шелли и Будды горела красная неугасимая лампада, и что по комнатам летали длиннохвостые попугаи и ары. В доме было душно от воскуряемого ладана и дыма опиума, а сам хозяин сидел перед пылающим камином, поглощенный своим кальяном.

Репутацией эксцентричного зверопоклонника, оккультиста и черного мага, эстета, снимавшего партнеров на ночь, Стенбок частично обязан своим «Этюдам о смерти» и описанным в них навязчивым идеям. В рассказе «Та сторона» есть такие строки:

«Там бывают твари, сверху до пояса как черные коты, а снизу как люди, только ноги их покрыты густой черной шерстью, они еще играют на волынках, и когда они всходят на возвышение...» — Меж старух, на коврике перед камином, лежал мальчик, его огромные чудные глаза расширились, а тело трепетало от страха.

Столетие со дня смерти Стенбока исполнилось в 1995 году. Недоступность его изданных сочинений наделила Стенбока

статусом невидимки в глазах коллекционеров книг того периода. Куда же делись его книги? Нам известно, что семья Стенбока выразила неудовольствие гомозротическими чувствами, выраженными в первой его книге «Любовь, сон и мечты», и вполне возможно, что после его смерти оставшиеся экземпляры его книг, изданных, в основном, за счет автора, были уничтожены. Уцелела лишь малая их часть, на которой и основывалась легенда о Стенбоке. Мы отправляемся на поиски не столько человека, сколько его пропавших сочинений.

Артур Саймонс описывает обиталище Стенбока в Кэмденхилле как «некий дом, скорее на отшибе, стоящий в ряду домов, где обитало несколько вырожденцев», а самого Стенбока как «одно из самых бесчеловечных созданий человеческих, с какими я только сталкивался; бесчеловечное и ненормальное; вырожденец, населенный не знаю сколькими пороками». Если описание Саймонса верно, то Стенбок мог жить в квартале гомосексуалистов, но следует учесть, что сам Саймонс неизменно, намеренно и мелодраматически декадентен; в его «Этюде о фантастическом» образ Стенбока как парии общества выдвинут на первый план. Можем ли мы допустить, что Стенбок был таким Квентином Криспом своего времени, любившим переодеваться в женскую одежду, чтобы привлечь к себе внимание? И было ли крахом для Стенбока, так державшегося за облик поэта, осознание того, что он неверно понял свое предназначение, и, кроме показного, его творческая энергия ничего не способна дать? Возможно, он потому так сильно интересовался оккультизмом, гротеском и всевозможными странностями, что ему требовалось оживить воображение, чтобы преобразовать свою символику в нечто новое. Его вампиры служат зачастую метафорами его сексуальной ориентации. В стихотворении «Вампир» он пишет:

*Обвить твоё тело кольцом
Змеиным все крепче, нежней.
Упить из вен, как вином,
Горячею кровью твоей.*

Его сочинения носят черты некрофилии; в Стенбоке вообще сильно желание шокировать, выливающееся в конфронтацию там, где дело касается сексуальных безрассудств, сильнее, чем у кого бы то ни было из его современников, за исключением Уайльда. Обои цвета мака, змея, выдрессированная так, чтобы обвиваться вокруг его тела, жареный павлин за обедом, — изнеженный, сверхчувствительный эстетизм отчасти восполнял недостаток убедительности в его поэзии.

Стенбок умер 26 апреля 1895 года в доме своей матери, Висдин-холл, возле Брайтона. В приступе белой горячки он набросился с кочергой на слугу и рухнул на пол с кровоизлиянием в мозг, которое положило конец его подточенному циррозом организму.

Целое столетие он существовал в воображении тех, кто славит странное и эксцентричное. Где бы я мог встретить его в этот холодный, ветреный апрельский день, когда я решил поместить его на этих страницах? Будь он на ногах к полудню, он, верно, взял бы такси и поехал бы к Теду Бейкеру на Флорал-стрит. Ему, несомненно, пришлось бы по вкусу его сорочки. Ну а ночью? Это уже другая история. Черный автомобиль, в котором он опускается на самое дно и который привозит его обратно домой, к изнурительной бессоннице и неспешной беседе с маком.

Джерemi Рид

Гилас

Я задался целью написать картину, изображающую Давида в образе пастуха, однако нигде мне не удавалось отыскать подходящую натуру; нашлось несколько лиц «белых и румяных»¹, но ни на одном не было печати прирожденной царственности или вдохновенности Псалмопевца. Однажды я отправился на лодочную прогулку вверх по реке и здесь увидел то самое лицо, которое так долго искал. То был мальчик лет пятнадцати, во фланелевом костюме, пришвартовавший свою лодку к островку на середине реки; мальчик делал эскизы. «Вот так удача, — подумал я. — Хороший повод завести разговор». Подплыв к нему и представившись художником, я попросил показать эскиз; он покраснел и показал свой рисунок. Я ожидал увидеть обычный смазанный пейзаж; но представьте мое изумление, когда я обнаружил прекрасно выполненный рисунок, изображающий Гиласа² на берегу реки и нимфу, протягивающую к нему руки. Мальчик просто срисовывал тростник и деревья, росшие на островке, в качестве фона для рисунка. Гилас получился неплохим автопортретом самого художника, но каково же было мое удивление, когда я увидел, что лицо нимфы — точная копия моей последней картины «Сирена», которую я недавно продал некоему профессору Лэнгтону (за очень малую цену, ибо знал, что профессор небогат, а его искренние восторги по поводу моих работ были так живительны после пустых комплиментов тех, кто считал необходимым восхищаться мной только потому, что мне о ту пору выпало оказаться в моде). Я похвалил рисунок, указал на пару огрехов, а потом, попросив бумагу и карандаш, воспроизвел рисунок как положено. Мальчик смотрел со все возрастающим вниманием; наконец, произнес, густо краснея:

1 Песн. П. 5, 10 (здесь и далее прим. переводчиков)

2 В греческой мифологии — любимец Геракла, во время похода Аргонавтов увлеченный в пучину наядами, которые были пленены его красотой.

— Нельзя ли узнать ваше имя?

— Меня зовут Габриэл Глайнд, — ответил я.

— Я так и думал все время, пока вы рисовали. Знаете, ваши картины всегда завораживали меня; у отца их много, во всяком случае, *рисунков, картина* только одна, та, что называется «Сирена», с которой я скопировал эту: вам должен быть известен мой отец, он как-то был у вас и осматривал вашу студию, — и, еще пуще заливаясь румянцем: — А можно и мне посмотреть вашу студию?

— Конечно, можно; но взамен я попрошу одно: чтобы ты позировал мне для образа Давида-пастуха. Из твоих слов я догадываюсь, что ты сын профессора Лэнгтона; правда? Как тебя зовут?

— Лайонел, — просто ответил он. — Нас всего двое — отец и я; ничего не имею против позирования, если вам того угодно и если вы позволите мне осмотреть вашу студию, хотя совершенно теряюсь в догадках, отчего вы считаете, что я гожусь для Давида.

Его манера говорить сочетала в себе ребячливость и образованность, что меня озадачило, однако объяснение было нетрудно отыскать. Вниз по реке мы отправились вместе; я пригласил его на чай в старый придорожный трактир, увитый жимолостью, а потом мы пошли напрямик к его отцу. По пути Лайонел рассказал мне о себе все. Он был единственным сыном, никогда не учился в школе, отец учил его всему сам, друзей его возраста у него не было, он сам придумывал себе игры. Он любил кататься, грести и плавать и ненавидел стрельбу и рыбалку (интересно, что тем самым он разделял мои собственные давнишние неприязни), но больше всего на свете любил рисовать; этому он никогда не учился, просто всегда рисовал, сколько себя помнил. Его отец знал все на свете, не умел рисовать, но обожал картины, но при этом не разрешал ему пойти в художественное училище и так далее. Так он и болтал всю дорогу. Я не мог не заметить, что он был *гораздо* образованнее, чем это обычно бывает в его возрасте, хотя сам совершенно этого не сознавал, и в то же время пребывал в полнейшем неведении относительно самых обыденных вещей.

Профессор Лэнгтон принял меня со всей любезностью, и я засиделся у него до вечера. Отправив сына в постель, он принялся

излагать мне свои идеи насчет образования. Школы он не одобрял; интернаты вызывали в нем отвращение, но без дневных школ, как он, похоже, считал, обойтись было невозможно.

— Однако в моем случае, — добавил он, — это, к счастью, не так; какая, право, польза от учительства, если ты не можешь быть наставником собственному сыну?

В общем, заполучив Лайонела в качестве натурщика, я полюбил его всей душой, и чем больше я виделся с ним, тем меньше мне нравилась идея отправить его в училище. Быть может, мальчику, получившему обычное воспитание, разговоры студентов училища особенно не повредили бы, но Лайонел — этот экзотический цветок — меня охватывала дрожь при одной мысли об этом. До этого у меня никогда не было учеников, я хотел подчеркнуть свою индивидуальность и не создавать школы, но Лайонел уже и так стал моей школой. Поэтому, в конце концов, я предложил взять его в качестве бесплатного, единственного ученика, за что отец его был мне чрезвычайно благодарен.

Проходили годы, я научил его хорошо рисовать; возможно, я немного перестарался, напатав его своей собственной индивидуальностью. Иногда я говорил себе шутливо: «Это все похоже на Леонардо да Винчи и Салаино. Когда-нибудь критики будут спорить, кто из нас настоящий «Глиндио»». Я не говорю, что у Лайонела не было воображения или изобретательности, — наоборот, он был, как я уже сказал, «гением», художником прирожденным, а не выучившимся, — просто в основании его стиля лежал мой; пожалуй, я даже надеялся на то, что когда-нибудь он превзойдет меня.

Никому и невдомек, какую страшную ответственность взваливает на себя тот, кто представляет друг другу двух незнакомых людей. В девяти случаях из десяти ничего особенного не происходит, но на десятый раз знакомство может перевернуть всю жизнь. Так было, когда я представил Лайонела леди Джулии Гор Вир. На самом деле я этого не делал; мы просто пили с ней чай в моей студии, и Лайонел, который в этот день должен был отправиться

на лодочную прогулку вверх по реке (это была одна из причин, почему я выбрал именно этот день для ее визита), неожиданно вошел в студию. Мне ничего не оставалось, как только представить их друг другу.

Леди Джулия носила фамилию Гор Вир, потому что у нее было два мужа, оба в совершенном здравии, просто в силу какой-то аномалии суд по бракоразводным делам никак не мог решить, должна ли она носить имя мистера Гора или имя мистера Вира, так что она пошла на компромисс и взяла сразу обе фамилии. О ее прошлом я ничего не знал и не хотел знать — меня оно не особенно заботило; по-настоящему меня заботило то, что она покупала мои картины. Определенно я не хотел бы, чтобы Лайонел познакомился с ней так скоро. Она была очень хороша собой, весьма умна (не в смысле колкости и остроумия, а в том, что была человеком интеллигентным), и в разговорах об искусстве действительно показывала свою осведомленность. Кроме того, что она вызывала у меня некоторое раздражение, я не видел в ней вреда. Лайонел ничего о ней не знал; в том, что она заинтересовалась им, не было ничего удивительного; а он с ребяческим удовольствием показывал ей свои наброски, которые она критиковала и которыми восхищалась, вполне заслуженно, ибо, как я уже говорил, они были необыкновенно хороши.

Я всегда видел в Лайонеле ребенка и не сознавал, что он уже повзрослел. Так уж получилось, что я знал возраст леди Джулии, но мне никогда не приходило в голову, что выглядит она гораздо моложе своих лет. Они стали встречаться. Однажды Лайонел сказал:

— Как леди Джулия походит на вашу «Сирену».

Я всегда был убежден, что художники берут лица у натурщиков точно так же, как лица даются натурщикам для художников. Я написал уже столько картин, что «Сирена» совсем стерлась из моей памяти. Казалось, что ее лицо вымышлено, написано не с натуры, но после слов Лайонела меня поразила мысль, что леди Джулия действительно похожа на «Сирену». Потом я подумал о его рисунке в день нашей встречи. Чувство недоверия и смутного

страха охватило меня; я стал пристальнее присматриваться к Лайонелу. И, наконец, правда открылась мне — он был безнадежно в нее влюблен. Она делала все, чтобы подстегивать его чувство; какой же дурак я был, не замечая этого прежде, я, всегда считавший себя наблюдательным.

Нет, так не пойдет, это разрушит его жизнь. Я должен во что бы то ни стало спасти его. Возможно, я ошибался все это время, я держал его в стеклянном ящике; будь у него больше опыта, она бы не вскрыла ему голову так неожиданно. Как это бессовестно с ее стороны! Я бушевал и скрежетал зубами. Неужели у нее нет более легкой добычи, чем этот бедный мальчуган? Что он ей? Но ведь она, возможно, и не подозревает, какой вред наносит. Я пойду и объяснюсь с ней самолично; сколько я знал ее, бессердечной ее было не назвать.

Так что на следующий день я напросился к ней с визитом и несколько невоспитанно тотчас же явился.

— Почему, — задал я вопрос, — вы разрушаете жизнь бедному мальчугану? Вы знаете, о ком я говорю, — Лайонел. Ведь вам ничего не стоило его завоевать?

Я говорил со злостью, она ответила спокойно:

— Вы хотите знать, почему? Причина довольно проста: во-первых, потому что я ревную его; во-вторых, потому, что я считала, что я не безразлична вам, и решила внушить вам ревность ко мне; и, наконец, потому что *я люблю вас*.

Я был совершенно ошеломлен; некоторое время я не мог вымолвить ни слова. Потом произнес:

— Если это правда, если, как вы говорите, вы любите меня, сделайте для меня одно — пощадите *его*.

Она ответила тем же спокойным тоном:

— Есть лишь один способ преодолеть это препятствие.

Я вышел, не сказав ни слова.

Всю ночь я лежал без сна, обдумывая ее слова. «Есть лишь один способ преодолеть это препятствие». Я говорил, что спасу его во что бы то ни стало, и цена этому — самопожертвование. Но какими бы бескорыстными ни были побуждения, корысть в них

всегда закрадывается. Я думал, что, в конце концов, жертва не так уж велика, способ преодолеть препятствие довольно прост — мне она определенно нравилась, а теперь, когда вечеринки в моей студии участились, было бы довольно удобно иметь женщину в доме. И потом, думал я, пытаюсь вновь перейти на позиции бескорыстия, я окажу ей добрую услугу; с моим именем ее репутация будет восстановлена, и люди быстро забудут, была ли ее фамилия Гор или Вир... Лайонел вскоре осознает всю абсурдность своего положения и, разумеется, не станет думать о том, чтобы ухаживать за моей женой.

Поэтому следующим утром я написал леди Джулии, не согласится ли она сменить свое двусмысленное имя Гор Вир на Глайнд. Она ответила в том смысле, что была бы счастлива принять мое предложение, однако ожидала, что я сформулирую его в более подобающих словах.

К счастью, Лайонел в тот день отправился на пешую прогулку (он обожал их), ведь тогда я был бы просто не в состоянии обо всем ему рассказать, пока все не закончится. Причин откладывать дело не было, поэтому мы договорились тихо заключить брак в парижской мэрии, поскольку по понятным причинам лучше было не делать этого в Лондоне. После всего я, наконец, собрался написать Лайонелу. Я порвал несколько писем, написанных в разных тонах; тон, избранный мной под конец, был шутиливо-легкомысленным: «Я в Париже, и представь, кто мой спутник? В жизни не догадаешься — леди Джулия Гор Вир, только теперь ее имя уже не Гор Вир, а Глайнд, потому что я на ней женился; но разницы никакой нет, ты все равно можешь ее называть леди Джулия».

Это письмо осталось без ответа, чему я не придал особого значения. «Конечно, — подумал я, — сначала он немного надуется, но вскоре отойдет; природное чувство юмора подскажет ему, как он был безрассуден».

Что бы ни говорили люди о моей жене, невозможно представить себе более приятного спутника, всегда занимательного и готового занять, всегда рассудительно-критичного; право, если бы

не постоянные мысли о Лайонеле, я бы сказал, что поездка доставила нам большое удовольствие.

Поймете ли вы меня, если я скажу, что испытал сожаление, узнав, что прошлое моей жены совсем не такое черное, каким его рисовали? Она была скорее неприступна, чем преступница. Полагаю, это такой перевернутый эгоизм; ведь это роскошь — вставать в позу героя. Чем обернулось мое героическое самопожертвование? Я просто взял себе в жены очаровательную женщину, по-настоящему любившую меня и никого больше. Я написал Лайонелу еще раз — длинное, подробное письмо с описаниями всех мест, где мы побывали, украшенное рисунками людей и городов. Ответа я опять не получил. Однако поскольку я отправил его по тому адресу, где Лайонел жил в последнее время, я пришел к заключению, что он просто не получил его, переехав в другое место.

Наконец, мы прибыли домой; я узнал, что Лайонел живет там же, у отца. Я послал записку: «Настаиваю на встрече. Приходи сегодня вечером. Жду ответа».

Но ответа не было; вечером же явился Лайонел.

Лайонел? Был ли это он? С ним произошла полная перемена. Юность и жизнерадостность совершенно покинули его; он скорее влачился, чем шел; он был бледен и выглядел абсолютно подавленно. Я попытался притвориться, что ничего не замечаю.

— Ну, Лайонел, — произнес я с притворным радушием, — чем ты занимался это время?

Он ответил без выражения, апатично:

— Писал картину.

— Картину? Какую же?

— Вы получите ее послезавтра, — отвечал он.

— Дитя, что с тобой случилось? Почему ты избегаешь меня? Отчего ты не отвечал на мои письма?

— Думаю, вам нет нужды задавать этот вопрос, — сказал он.

— Нет, ответь мне — объясни, — закричал я, протягивая к нему руки. Он отошел в другой конец комнаты и сказал дрожащим от слез голосом:

— Вы отняли у меня все, что я любил; я бы никогда не подумал, что вы на это способны. Разумеется, у вас было право на это, но можно было бы сначала рассказать обо всем мне.

— *Все*, что я любил? — переспросил я.

— Да! *Все*, кроме вас самого, но вы убили мою любовь к вам, — почти что прорыдал он.

— Но, Лайонел, послушай; я не люблю ее.

— Вы думаете, это вас извиняет? — спросил он с яростью. — Если бы любили, я бы простил вас; но сейчас — не могу.

— Но послушай, — вскричал я, — выслушай меня; я не ее любил, — *тебя*; я женился на ней, потому что думал, что спасу тебя.

— Станный способ доказывать свою любовь, разбивая мне сердце, — сказал он прежним безжизненным голосом. — Прощайте, — и он повернулся и протянул левую руку — она была холодна и висела как плеть; открывая дверь, он обернулся еще раз, и на лице его было выражение немого укора, которого мне не забыть вовеки.

Через два дня в утренней газете мне попалась следующая заметка:

ТРАГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

Возле острова N <там я впервые встретил Лайонела> обнаружено тело молодого человека. В нем без труда опознали мистера Лайонела Лэнгтона, молодого, многообещающего художника, чья одежда лежала на берегу, причем в кармане пиджака нашелся бумажник с фотографиями и письмами, к тому же мистер Лэнгтон, хорошо известный в окрестностях, любил купаться в этом самом месте. Его смерть вызвала большое удивление, ибо он был известен как отменный пловец. Несчастный случай приписан внезапной судороге. Его отцу, профессору Лэнгтону, была сразу же послана телеграмма, ввергнувшая его в скорбь. Он поведал, что в последнее время сын огорчал его; он был нездоров и уныл, странно себя вел, чему он, его отец, не мог найти никакой причины.

Едва я прочел это, как раздался сильный стук в дверь, и два человека внесли в комнату картину. Никогда не доводилось мне

видеть чего-либо равного, выходящего из-под кисти Лайонела; это была изумительная работа. На холсте был изображен Гилас, лежащий на дне реки и видимый сквозь воду. И на этот раз это был автопортрет Лайонела, но ему как-то удалось запечатлеть на этом лице, в закрытых глазах, то выражение, какое было на нем, когда он выходил от меня. В воде отражалось мое склоненное лицо. Вскочив, я увидел отражение его в зеркале; но как же мог он предвидеть, что на моем лице отразится именно это выражение при вести о его смерти?

НАРЦИСС

Мой отец умер до того, как я родился, а мать — производя меня на свет, так что с рождения мне достались сразу и титул, и состояние. Я упоминаю об этом, просто чтобы показать, что Фортуна с самых первых моих шагов улыбалась мне. Красота была единственной страстью моей жизни, и я сознавал свою удачливость особенно остро потому, что мой идеал воплотился во мне самом. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я оглядываю комнату и вижу портреты себя самого на разных этапах моей жизни: в детстве, в отрочестве, в юности. Лица такой красоты я больше ни у кого не встречал. Эти великолепные, классические черты, эти огромные сияющие, синие глаза, выующиеся золотистые волосы, точно соткавшиеся солнечные лучи, этот божественный изгиб рта, изящество губ, изумительная осанка! Я не был тщеславен в обычном понимании, ибо тщеславие подразумевает жажду одобрения другими, подделку под их желания. Наоборот, меня мало волновало, что думают другие; я часами просиживал перед зеркалом в некоем экстазе. Нет! ни одна картина, которую я когда-либо видел, не могла сравниться со мной!

В детстве я был избалован. Жизнь в школе была необременительна. За меня делали задания, а наставники смотрели сквозь пальцы на мои шалости; и хотя мальчики из моего класса ненавидели и завидовали мне, они знали, что если тронут меня, то сразу же схлопочут от моих защитников из старших классов. Я не хочу сказать, что был неважным учеником; потому что, кроме красоты, я был наделен еще и острым умом и за день мог выучить то, что другим давалось за месяцы. И если я говорю, что был избалован, это не значит, что я был обидчив и капризен, как все балованные дети; напротив, я был неизменно приветлив, быть может, потому, что мне никогда не перечили. В отличие от тех, чье чувство прекрасного развито необыкновенно, у меня не было абсолютно никаких увлечений. Я никого не любил — но милостиво

позволял любить себя и всегда находил способы благодарить любящих меня, за что и заработал репутацию человека бескорыстного.

Все это осталось в детстве. Повзрослев, я начался вращаться в обществе. Женщины, все без остатка, моментально влюблялись в меня. Я не имею в виду искательниц богатства и знатности, но равных мне по богатству и положению в обществе. Меня поздравляли с моими завоеваниями, ведь все мои поклонницы были знаменитыми красавицами. Вот уж красавицами! Что была их красота по сравнению с моей? Я не понимал ни женщин, ни их чувств; но я прочел несколько романов, старался быть любезным со всеми и ухаживал за ними так, как было описано в книгах. Однажды появилась девушка, которую считали ослепительно красивой. В самом деле, она была довольно хороша собой. Она была дочерью мексиканского миллионера, и за ней волочились все без исключения. Мне напомнило это одну из «Баллад Бэба»: «Болтал с ней герцог Бейли там...»¹, хотя, в отличие от герцога Бейли и герцога Хамфи, ее поклонники горели желанием бросить свои титулы и поместья к ее ногам. Однако она, не в пример героине баллады, предпочла мой «робкий, тихий нрав». Должен оговориться, что моему *тщеславию* это польстило; мне было приятно думать, что ради меня другие отодвинуты на задний план, я вел себя с ней как можно более приветливо, появляясь в ее обществе повсюду. Она была определенно умна, но отличалась некой необузданностью, которая меня раздражала.

Однажды ее отец сказал мне:

— Вы не представляете, как я обрадовался известию о вашей помолвке с моей дочерью. Как-нибудь, когда нам никто не будет мешать, вы, надеюсь, не откажетесь обговорить все детали этого

¹ «Баллады Бэба», сатирические стихотворения английского поэта и либреттиста Уильяма Швенка Гилберта (1836–1911), публиковавшего их под псевдонимом Бэб в лондонском журнале «Фан» в 1861–1872 гг. (отдельное издание — 1869 г.). Цитируются строки из стихотворения «Продавщица литорин»:

«Болтал с ней ГЕРЦОГ БЕЙЛИ там,
И ГЕРЦОГ ХАМФИ тоже —
От литорин их животам,
Не по себе, похоже» (пер. Аллы Хананавили).

дела. Я намерен показать себя благородно и дам за ней приданое на сумму... (Господи! Этот выскочка!)

— Помолвка с вашей дочерью? — воскликнул я. — Между нами не было такого уговора. Я крайне сожалею, но я не имею представления, от кого вы об этом узнали. Эти сведения абсолютно не соответствуют действительности.

— Что? — спросил он. — Не помолвлены с Энрикеттой? Да что вы такое имеете в виду? Вы что же, полагаете, что я позволил бы вам просто так разгуливать с моей дочерью? Еще раз спрашиваю вас — что вы имеете в виду?

— Сожалею, — сказал я, — что вас ввели в подобное заблуждение. Чтобы доказать, что я серьезно отношусь к своим словам, впредь я буду избегать всяческого общения с вашей дочерью. Полагаю, что едва ли она разделяет ваши заблуждения.

И с этим замечанием я покинул дом.

Вскоре после этого ко мне явилась сама Энрикетта, застав меня перед камином за чтением книги. Она была воплощенная ярость. Эмблема гнева. В ту минуту мне неожиданно вспомнилось изречение: «Non est ira sicut ira mulieris»¹.

— Так вот как вы себя повели! — произнесла она. — Ну что ж, получите же! — и с этими словами она выплеснула мне в лицо содержимое какого-то пузырька. Это был не купорос; он ослепил бы меня, но этого, к сожалению, не произошло!

Резкая боль охватила половину лица, и жидкость начала разъедать кожу. Щеки запали, кончик носа отвалился, волосы сходили целыми прядями, выпало несколько зубов, рот превратился в жуткую ухмылку, глаза, лишённые бровей и ресниц, страшно глядели из глазниц. Я лишь единожды видел себя в зеркале; ничего более омерзительного невозможно себе представить.

Несколько друзей пришли посочувствовать мне, но я не принял их ни под каким видом. Я разбил и выбросил вон все зеркала в доме и едва мог смотреться в таз для умывания. Со своими слугами я разговаривал из-за ширмы, жил совершенно один и выходил

1 Нет гнева, подобного женскому (лат.)

только по ночам. У меня осталась единственная возможность дышать воздухом и прогуливаться, поэтому я подкупил полицейского, чтобы он пускал меня в Гайд-парк перед самым закрытием, где я бродил всю ночь, пока на рассвете ворота не отпирались, после чего я спешил домой.

Как-то ночью, во время одной из моих обычных одиноких прогулок, я услышал в темноте детский плач.

— Пожалуйста, помогите, — плакал голос, — мать оставила меня здесь и обещала вернуться, а сейчас я услышал, что часы бьют четыре раза, а она еще не возвратилась, а я слеп, совсем слепой.

Я зажег фонарь; он осветил ребенка лет девяти-десяти. Он был одет в лохмотья — но у него был выговор джентльмена.

— Сейчас из сада выйти невозможно, — сказал я. — Тебе нужно ждать, пока утром ворота не откроются. Подойди, сядь рядом. Хочешь есть?

— Да, — ответил он просто.

— Ну что ж, давай тогда поедим.

Я раскрыл сумку, в которой всегда носил разные деликатесы и вино для моих полных трапез, расстелил салфетку и разложил на ней еду.

Затем ребенок рассказал мне о себе. Я не смогу повторить его историю так безыскусно, как это сделал он; перескажу самую суть. У него была хрупкая внешность, очень милое лицо, закрытые его глаза внушали бесконечную жалость. Выяснилось, что он жил со своей матерью. Звали его Тобит: он родился слепым и не знал, что значит видеть. Он не знал, есть ли у него фамилия; мать его носила прозвище «Красотка Бесс», потому что люди говорили, что она очень красивая.

— Что значит «красивая»? — спросил он меня. Я поежился.

— Это значит иметь хорошую внешность; но в красоте нет никакой пользы. Лучше быть просто хорошим.

Он рассказал, что мать всегда била его; но каждые три месяца к ним в гости приходил один добрый господин, который всегда дарил ему подарки, а матери — деньги. Этот господин был офицер. Ему было заранее известно, когда добрый господин придет,

потому что мать переставала бить его за три недели до его прихода, поскольку однажды тот углядел синяки, рассердился и побил мать. А когда господин ушел, мать сказала ему: «Если расскажешь ему что-нибудь обо мне еще раз, я из тебя душу вытрясу».

Господин беседовал с ним и брал на прогулки. Но все подаренные игрушки мать отбирала у него и продавала, чтобы купить выпивку. Два раза он на целую неделю ездил с добрым господином в место, называемое «загород». Там были цветы и пели птицы; там он был счастлив.

— Она не отобрала у меня только это, — сказал он, вытаскивая из кармана грошовую свистульку, — потому что сказала, что за нее ничего не получишь, и я могу идти на улицу и свистеть. Тогда мне, может быть, будут подбрасывать монетки.

И он принялся наигрывать мелодию на своей свистулке. Боже милостивый! я и не подозревал, что из такого инструмента можно извлечь что-либо подобное! Он начал с известного мотива шарманщиков, который перешел в вариации и рулады. Я был поражен.

— Много народу дает мне монетки, — сказал он простодушно, — но мать их у меня отбирает.

Однажды он подслушал, как мать препирается с тем господином.

— А чего бы тебе не сделать меня честной женщиной? — осведомилась она.

— Довольно-таки невозможно сделать из *тебя* честную женщину. Так что лучше рот закрой. Ты-то знаешь, что я не могу на тебе жениться. И даже если бы мог, то не стал бы. Я могу только Бога молить, чтобы забрать с собой бедного крошку Тобита.

— Забрать ребенка у матери, — захныкала она. — К счастью, законы Англии этого не позволяют.

— Заткнись к чертям! — прикрикнул он. — Мальчонка тебе до фонаря. Тебе денежки подавай. Точно говорю, ты обращаешься ним дурно, хотя он мне об этом слова не сказал. И ты еще говоришь что-то о честности. Посмотри, как одет мальчишка, — и взгляни на себя!

Как только он ушел, она набросилась на мальчика и избила так, что он вынужден был звать на помощь. Мужчина вернулся, схватил ее и прижал к полу.

— Слушай, — проговорил он, — ты завязывай с этим, чертовка! Еще раз попробуешь это сделать — получишь сполна!

В последнюю их встречу тот человек был еще ласковее. Тобит почувствовал, как на лицо его падают горячие слезы.

— Бедный крошка Тобит! Я еду в далекую страну, и мы, наверное, больше не свидимся.

Затем он услышал, как он разговаривает с матерью:

— Послушай, Бесс, это все деньги, что у меня есть, и тебе их должно хватить, покуда я буду в отлучке. Но я надеюсь вскорости вернуться, и платить тогда мне будут больше.

После этого Тобит плакал много дней, что вывело мать из себя. Однажды, когда прошло достаточно времени, он осмелился спросить, когда добрый господин вернется из далекой страны.

— Он не вернется, — раздраженно ответила мать. — Его убили — застрелили где-то в Африке, черт бы его подрал! Убирайся из дому играть на своей свистульке.

Он вышел на улицу и сначала разрыдался, а потом каким-то образом горе его перелилось в музыку — «потому что», — сказал он, — «я заработал тогда больше монет, чем прежде». А какое-то время спустя он услышал, как мать шепчется с каким-то мужчиной.

— Черт подери! — ругался тот. — Мы не можем взять с собой этого поганого щенка.

— Ничего, я сама разберусь, — ответила она. Тем же вечером она вывела его в парк, сказала, что ей нужно поговорить с одним человеком, что она скоро вернется, и чтобы он оставался на месте. Тобит слышал поблизости мужской голос, но мать так и не вернулась.

К счастью, закончив говорить, мальчик погрузился в сон. Я не знал, что сказать. Омерзение, охватившее меня от его рассказа, напомнило мне то чувство, что овладело мной при виде собственного лица. На рассвете я разбудил мальчика. Я опустил на

лицо густую черную вуаль, и мы направились ко мне. Посланный мною на розыски слуга вернулся с тем, чего я и ожидал, — что мать Тобита сбежала со всеми пожитками, не внося платы за комнату.

Так что мне, наконец, было ниспослано утешение. После долгого одиночества у меня появился спутник — тот, который не отпрянет при виде меня. Я решил покончить с моими ночными блужданиями и сумел купить домик в отдаленной, уединенной местности за городом, где можно было бы бродить часами по окрестностям, никого не встретив; сжалившись над слугами, я позволил им поселиться в ближайшем городке, приказав только снабжать меня провиантом и раз в неделю убирать дом. Ребенку здесь очень нравилось. Его безмятежное, абсолютное счастье при всей его слепоте открыло мне гораздо большее наслаждение, чем я испытывал раньше при виде красоты. Он был очень смышленным и феноменально одаренным ребенком, я учил его музыке, что доставляло ему огромное удовольствие. Фортепиано, разумеется, было доселе ему совершенно неизвестно. Единственным инструментом его была грошовая свистулька!

Однажды я прочел в газете, что некий знаменитый хирург провел успешную операцию на пациенте, рожденном слепым. Внутри меня завязалась борьба; а вдруг ребенок сможет видеть! Я думал о том, что он лишен того, что представляло для меня огромную ценность, и могу ли я и дальше отнимать у него все это? Но когда он прозреет, он отпрянет от меня в страхе. Однако здоровье мое слабеет — оставалось мне недолго, и должен ли я, потакая своему краткосрочному эгоизму, обрекать его и дальше на вечную тьму, тогда как в моих силах ему помочь? Как я уже сказал, это была ужасная борьба. Наконец, я решился посоветоваться с офтальмологом. Я взял ребенка с собой в Лондон.

Врач, осмотрев его, заключил, что операция будет несложной — куда более простой по сравнению с тем случаем, о котором писали в газетах. Потребуется только лишь — собственно, не знаю, что именно. Я не был особенно сведущ в медицинских терминах,

поэтому дал свое согласие на операцию. Ребенок был усыплен хлороформом, и операция завершилась, после чего на его глаза была наложена повязка, которую мне было сказано снять на третий день.

На третий день я снял ее. Я всегда думал, что слепым, даже слепорожденным, известны зрительные образы. Однако с ним это было не так. Операция закончилась успешно, он мог видеть. Прикасаясь к предмету, он прекрасно знал, что это кресло или стул, но теперь мне было очень трудно объяснить ему, что он видит кресло или стул. Он был как в дурмане. И, наконец, он произнес:

— А знаете, красивее вас нет никого в целом свете!

ТИБЕЛЬ ПРИЗВАНИЯ

На первый взгляд не было ничего удивительного в том, что Серафина де Сен-Амарант, первейшая красавица парижского сезона и одна из самых богатых наследниц, вышла замуж за маркиза Селестина де Лавалия, последнего представителя одного из древнейших родов Франции, и что, поживившись, «они зажили счастливо». В этом событии не было ничего выдающегося, и объявлять о нем следовало лишь на светских страницах «Морнинг Пост». Однако для близких друзей обеих сторон оно стало величайшим сюрпризом.

Де Лавалия обзавелись титулом не так давно. Злые языки поговаривали, что настоящее имя маркиза было Жозеф Леви; в его внешности и впрямь проскальзывало нечто иудейское. Но разве не обладал он огромным состоянием? И разве не был он женат на первейшей *mondaine*?¹ Ибо Серафина получила обычное воспитание парижской *mondaine*. В то время, когда разворачивались эти события (а я повествую о том, что произошло на самом деле), ее, избалованную в детстве и прошедшую послушание в монастыре, заставляли появляться на всех балах и вечерах.

Она была, безусловно, красива — темноволосая, с ясными, одухотворенными глазами. Но почему-то балы и вечера не прельщали ее — она жаждала вернуться в монастырь и принять постриг, о чем ее родители, разумеется, не хотели и слышать. Она не чуждалась общества и не возражала против похода куда-нибудь в театр. Но там от нее можно было услышать: «Да, здесь весело, но эта жизнь не для меня». Одного она совершенно не переносила — балов. У нее была одна из тех грациозных фигур, которые выглядят прекрасно даже в рубище; чисто женская любовь к платьям в ней тоже присутствовала, и она великолепно одевалась. Танцевала она превосходно. Но пустые комплименты и болтовня, сальные взгляды поклонников вызывали в ней

¹ *Дама света (фр.)*

непреодолимое омерзение. Знаменитый «спортсмен», герцог дю Морлей, которого ее родители так хотели ей навязать в женихи, вызывал в ней особое отвращение. Но какое удовольствие испытывали ее родители, когда она увлеклась маркизом де Лавалем!

Селестин де Лаваль во многих отношениях напоминал ее саму, хотя уже успел повидать общество. Он был дилетант в литературе, живописи и музыке, и был довольно расточителен. Какое-то время он серьезно думал о том, чтобы стать монахом; но ему не хватало мужества сделать последний шаг. Он говорил: «Я обойдусь без всего этого; это для меня не первейшая необходимость. Я легко могу все оставить». И друзья отвечали: «Ну да! мы тебе верим». Но, несмотря на знакомство с новейшими идеями, он оставался религиозным. В самом деле, именно в этой связи он повстречался с мадемуазель де Сен-Амарант. Он был красив, с умным лицом, ему было около тридцати. Это случилось в церкви, на вечерней молитве; дама, рядом с которой он сидел, уронила молитвенник, он поднял его и передал ей. Ее красота поразила его, как всегда поражало все прекрасное, хотя никто из его друзей не помнил, чтобы он влюблялся в женщину. Во Франции сохранилась почти что восточная система гаремов. Мужчина может быть близко знаком с другим мужчиной по ресторанам и кафе, но так и не быть представленным его семье; в ресторанах-то Селестин часто и встречал барона де Сен-Амаранта. Однажды, встретившись в каком-то *cercle*¹, Сен-Амарант попросил его почтить свои присутствием большой бал, устраиваемый в день рождения его дочери. Но если и было что-то более ненавистное Селестину, так это балы. Не имея достаточного повода для отказа, он был обязан принять приглашение. Итак, он пошел. Велико же было его удивление, когда он увидел там девушку, с которой несколько дней назад встретился в церкви. Он был обязан, из простых приличий, пригласить ее на танец. Она сказала ему совершенно искренне:

— Уверена, вы любите танцы не больше моего.

Он ответил:

¹ *круг (фр.)*

— Правда, не люблю. Если вы не возражаете, лучше присядем где-нибудь в тени. Кажется, мы уже встречались.

— О да, — сказала она, — в церкви святой Магдалины; вы подняли мой молитвенник. Вы хотя бы ходите в церковь. Ах, я так устала от этой нескончаемой карусели балов и вечеров. Нельзя ли просто оставить меня в покое? Любопытно, нравятся ли вам балы.

— Отнюдь, — ответил маркиз, — такие вещи мне совсем не по душе. Я был обязан принять это приглашение, — и, покраснев и запинаясь: — Конечно, мадемуазель, я не хотел сказать...

В эту минуту к ним подошел герцог де Морлей, чтобы пригласить ее на танец, и тем спас его от произнесения «того, чего лучше бы не произносить».

Кончилось все это тем, что вскоре маркиз стал близким другом семьи. Барон постоянно приглашал его на ужин и использовал каждую возможность, чтобы оставить их наедине, думая, что они увлеклись друг другом и составляют прекрасную пару.

В каком-то смысле они и впрямь увлеклись друг другом. У них было много общего во вкусах: для нее было облегчением, после длинной череды самодовольных кавалеров, найти человека, заметившего ее интеллектуальные качества. А он, кажется, испытывал те же самые чувства к ней. Между ними возникли доверительные отношения. Как-то раз она сказала ему:

— Вы знаете, что я обладаю тою же решимостью, что и вы. Вы свободны, я — нет. Я намерена вступить в религиозный орден, но что же мне делать? Ведь родители держат меня в такой строгости, какой позавидует самый суровый орден, и продолжают настаивать на моем браке с одним из этих жалких созданий в стоячих воротничках и с пустыми физиономиями, при виде которых меня охватывает омерзение. Вы — единственный человек, который стал мне другом: а мать не хочет, чтобы я заводила дружбу с девушками, хотя если бы это произошло, не думаю, чтобы это мне понравилось. *Их* жизненный идеал отталкивает меня. Так что же делать? Только к вам одному, кто может меня понять, я обращаюсь за советом.

— Что ж, — не спеша ответил он, — эту сложность можно преодолеть только одним способом. Вы, наверное, будете удивлены, услышав мое предложение. Но, поразмыслив, вы придете к

выводу, что в нем ничего особенного нет. А именно, вы и я заключим номинальный брак и проживем немного вместе как брат и сестра; потом вам будет вольно делать все, что угодно. Мы расстанемся и разойдемся каждый в свой монастырь.

Задрожав, она произнесла:

— Но если вам случится полюбить другую женщину, а я должна буду уйти в монастырь, то я останусь висеть на вас непосильным грузом.

Он отвечал:

— Я думал, что вы знаете меня достаточно, чтобы не строить таких предположений. Кроме того, в соответствии с законами церкви, если говорить напрямик, брак без осуществления утрачивает силу. Однако нет нужды об этом беспокоиться. Вы, кажется, сомневаетесь в моем призвании.

Она взяла его за руку и сказала:

— Я просто боялась за вас; если вы серьезны в своих намерениях — что ж, на то воля Божья.

Радости барона при вести о помолвке его дочери не было предела: и когда к нему пришел маркиз де Лаваль свататься к его дочери, он был настроен одарить своего единственного ребенка на свадьбу очень щедро. Каково же было его удивление, когда де Лаваль отказался принять какое бы то ни было приданое. После настойчивых просьб он, наконец, сказал:

— Ну что ж, если вы настаиваете, вы можете дать за ней приданое. И хотя мы желали бы провести торжество в самом узком кругу, если вам угодно видеть длинную процессию подружек невесты и торжественную мессу в исполнении целого оркестра, вы вольны заплатить за это. Но после того, как она станет моей женой, я не трону ни гроша из ее денег. Моего состояния — *Dieu merci!*¹ — хватит на то, чтобы содержать нас обоих.

Итак, они торжественно сочетались браком, и отчеты об этом появились во всех газетах. После этого они отправились в его шато возле Нанта в Бретани, где мать Лаваля была изумлена тем об-

¹ Слава Богу (фр.)

стоятельством, что они заняли отдельные комнаты. В самом деле, единственный раз он был в ее комнате, чтобы вместе почитать требник в приуготовление к монашеской жизни. Потом они отправились в путешествие по Италии. На свой спокойный лад они очень развлеклись и нашли между собой еще больше общего, чем думали раньше. Не заводя новых знакомств, они вскоре обнаружили, что не могут обходиться друг без друга, в буквальном смысле став братом и сестрой, за исключением того, что, как часто случается между братьями и сестрами, между ними ни разу не произошло ссоры.

Наконец, когда их браку исполнился год, они вернулись в свой парижский дом. Они решились на последний шаг. Селестин предложил Серафине, полушутя, полусерьезно, облечься в одежды францисканского ордена, чтобы посмотреть на нее в монашеском одеянии; она облеклась. При взгляде на нее слезы покатались из его глаз.

— О Серафина! — воскликнул он. — Я так сильно буду тосковать по тебе.

Неожиданно она обхватила его руками и в первый раз поцеловала со всей страстностью.

— Нет, дорогой, — вскричала она, — я не могу оставить тебя. Я не могу жить без тебя!

В эту минуту зазвонил звонок, и раздался громкий стук в дверь. Она сошла вниз в своем монашеском одеянии. Какая-то нищенка убегала по улице; Серафина споткнулась о лежавший на пороге сверток. Жалобный крик исходил от него; она подняла сверток: в нем был годовалый ребенок, завернутый в грязные лохмотья: он тянулся к ней своими ручонками: когда она взяла его на руки, он сразу замолк. Она принесла его наверх и без слов положила на колени мужу. Дитя потянулось своими мягкими цепкими ручками к Селестину, глядя на него своими незабудковыми глазами; оно лежало совсем тихо. Серафина без шума вышла из комнаты. Вскоре она вернулась, наряженная в свадебное платье. Она присела рядом с мужем и положила ребенка между ними. Так они и сидели, очень долго, взявшись за руки, в полнейшей тишине.

ВИАЛА Д'АМОРЕ

Когда-то в моде была отличавшаяся особенно нежным тоном разновидность скрипки или, вернее, нечто среднее между виолой и виолончелью. Сейчас их уже не изготавливают. Думаю, что это — история последней такой виолы. Довольно необычный этот рассказ, возможно, послужит некоторым объяснением тому, почему такие инструменты больше не делают. Но пусть я поэтесса и, следовательно, склонна верить в невозможное, не думаю все же, что такова была история всех виол д'аморе. Могу лишь добавить, что присущая им нежность тона достигается дублированным звучанием струн, натянутых под грифом, и еще одним отзвуком внутри деки. Но обратимся же к рассказу.

Однажды я была во Фрейбурге — том, что в Бадене. Как-то воскресным днем я отправилась на торжественную мессу в местном соборе. Струнный квартет великолепно исполнял потрясающую бетховеновскую Мессу до-мажор. Я была особенно впечатлена игрой первой скрипки — величавого, среднего возраста мужчины с необыкновенно красивым лицом, которое напоминало один из портретов кисти Леонардо да Винчи. Он был облачен в черную мантию, похожую на те, что носили в средневековье; и играл он с таким вдохновением, какое редко доводится встретить у музыкантов. Там же пел дискант, самый прекрасный из всех, что я когда-либо слышала. Мальчишеским голосам, с их ни с чем не схожим тембром, немного не хватает выразительности. Так вот в этом голосе тончайший тембр соединялся с полнейшей выразительностью. Я собиралась остановиться во Фрейбурге у своих знакомых. Но исполнитель, игравший первую скрипку, возбудил во мне любопытство. Я узнала, что он итальянец, из Флоренции, и происходит из древнего дворянского семейства да Риполи. Но сейчас он занимается изготовлением музыкальных инструментов, что приносит ему совсем небольшой доход, — и все же он играет в соборе из любви, не за деньги; а тот прекрасный дискант принадлежит его младшему сыну, — от умершей

жены скрипачу осталось пятеро детей. Он заинтересовал меня, и я захотела ему представиться, чего добилась без труда.

Он жил в одном из тех красивых старых домов, какие можно еще встретить в таких городках, как Фрейбург. Его, похоже, удивило, что ему специально нанесла визит англичанка. К счастью, я могла изъясняться по-итальянски, будучи итальянкой по матери и как раз направляясь в Италию. Он встретил меня весьма приветливо. Меня провели в длинную готического вида комнату, чьи стены были обшиты черным дубом: прекрасное готическое окно было открыто. Была весна, погода стояла чудесная. В комнате витал аромат, исходивший от цветущего прямо напротив окна боярышника, на котором необыкновенным образом распустились сразу и белые, и красные цветы. Комната была полна самых затейливых и причудливых вещей — шкатулок, сосудов, вышивок — весьма изысканной выделки. Он сказал, что их изготовили его сын и дочь. Мы постепенно заинтересовались друг другом и пустились в длинную беседу. В это время в комнату вошел высокий серьезный молодой человек. Он был похож на этруска — смуглый, угрюмый.

С встревоженным видом, не замечая меня, он отпустил странное замечание:

— Сатурн находится в союзе с Луной: боюсь, что с Гвидо может случиться что-то дурное.

— Это мой сын Андреа, — объяснил его отец, — мой старший; он увлекается астрономией и астрологией тоже, хоть вы, возможно, в нее не верите.

В это время вошел еще один молодой человек. Это был второй сын, Джованни. Он был, как и его брат, смугл и высок, но у него была очень приятная улыбка. Он напомнил мне портрет Андреа дель Сарто. Именно он изготавливал — в прямом смысле этого слова — все те прекрасные предметы, которыми был уставлен стол. За ним вошли две его сестры: старшая, Анастасия, высокая, статная, с темными волосами и серыми глазами и с бледным лицом: очень похожая на тот женский тип, который часто встречается на полотнах Данте Габриэля Россетти. Младшая сестра выглядела чуть иначе: она была белокожа, но на итальянский манер: кожа ее была оттенка слоновой кости, что так отличается от розовой

кожи северных женщин. Волосы ее были того несравненного рыже-золотого цвета, какой можно увидеть на полотнах Тициана, но глаза были темные. Звали ее Липерата. Получалось, что Анастасия была старшим ребенком в семье, затем шли Андреа и Джованни, следом Липерата и Гвидо, которого я еще не видела.

Я упустила из внимания один факт, хотя это не имеет особенного значения, — Анастасия была облачена в синее платье, похожее на те, что одевали в средние века, но очень изящное. После я узнала, что это платье было задумано и сшито ею самой.

Вскоре в комнату вошел мальчик лет четырнадцати. Это был Гвидо. Волосы его были светлее, чем у братьев, хотя в нем тоже было что-то этрусское, и он был для своего возраста невысок. Выглядел он чрезвычайно хрупко и нежно. Кожа его напоминала лепесток розы: у него были длинные, гибкие, чувствительные руки, отличающие прирожденного музыканта. Довольно длинные волосы с оттенком каштана отливали золотом, как будто были золотистыми раньше. Но в его глазах, странного цвета — серо-голубого, с желтыми прожилками, застыло выражение словно не от мира сего, точно он засмотрелся на медленно текущую реку музыки. Он сразу же подошел к окну, также не замечая, что в комнате находится чужой человек, и произнес:

— Ах, какой прекрасный боярышник! Только еще раз взгляну, как он цветет.

Он словно любовался сквозь ветви цветущего боярышника на бледную планету Сатурн, которая выдалась тогда необыкновенно большой и сверкающей. Андреа задрожал, но Джованни наклонился и поцеловал Гвидо со словами:

— Что, опять грусть накатила?

Как вы можете себе представить, мне стала интересна эта необычная семья, и вскоре наше знакомство переросло в близкую дружбу. К Анастасии меня особенно тянуло, ее же — ко мне. Анастасия унаследовала музыкальные вкусы отца и была незаурядной скрипачкой.

Андреа занимался не одной астрономией с астрологией, но еще алхимией и подобными вещами, в основном оккультными.

Все члены семьи были очень суеверны. Кажется, что астрологию и магию они считали делом обыкновенным. Но Андреа был самым суеверным из всех. Хлеб для семьи зарабатывал Джованни, которому помогала Липерата, изготавливавшая самые изысканные вышивки. Только вот материалы были очень дороги и требовали больших расходов, прежде чем что-то можно было продать.

Хотя музыкальные инструменты, которые изготавливал глава семейства, были самого высшего качества и стоили больших денег, он уделял своим изделиям так много внимания, что мог работать годами над одной скрипкой. В ту пору он был поглощен одной мыслью — изготовить виолу д'аморе, инструмент, по его словам, самый прекрасный на свете и несправедливо забытый. И его виола обещала превзойти все, доньше произведенные. Он рассказал, что покинул Флоренцию, потому что не мог выдержать того, что эта великая республика (происходя из древней дворянской семьи, он был, тем не менее, убежденным республиканцем) превращается в столицу заштатной монархии.

— Следующим будет Рим, — прибавил он. И он не знал, что скоро его слова сбудутся.

Семья и вправду была небогата, и все хозяйство лежало на Анастасии. И управлялась она с ним блестяще. Так что жизнь их, очень простая, была в то же время элегантна и изысканна.

Очень часто я пользовалась их простым, истинно итальянским гостеприимством, отплатив им тем, что приобрела несколько образцов великолепного мастерства Джованни и одну скрипку работы старого синьора да Риполи, которую храню до сих пор и с которой ни за что не расстанусь. Хотя, увы! я не умею играть. Короче говоря, мне нужно было продолжать свое путешествие, но я, если можно так выразиться, не потеряла их из виду и часто переписывалась с Анастасией.

Однажды, где-то через год после описанного, я получила от Анастасии следующее письмо:

«Дорогая Селия,

нас постигло величайшее бедствие, настолько из ряда вон выходящее, что вы едва ли поверите моим словам. Ведь вам известно,

как отец поглощен своей виолой д'аморе. Вы также знаете, что все мы довольно суеверны, но никто — так, как Андреа. Оказывается, как-то раз Андреа сидел над какой-то старой книгой, написанной на том нечистом языке, полулатыни, полуитальянском, на котором писали до Данте, и наткнулся на один пассаж (вы же знаете, что я ничего не смыслю в изготовке музыкальных инструментов; но, оказывается, чтобы достичь полной вибрации виолы д'аморе, необходимы кожаные ремешки). В том пассаже было написано, что тон достигает неизъяснимой сладости, если эти ремешки изготовлены из кожи тех, кто больше всех любил изготовителя. [Об этом суеверии я уже слышала раньше: кажется, что-то такое было написано о Паганини, но там было другое. В легенде о Паганини струны скрипки были сделаны из внутренностей человека, и их звучание подстрекало к убийству; но из письма следовало, что в этом случае все было не так, — это было добровольное пожертвование]. Андреа завладела фантастическая идея вырезать и выдубить часть своей кожи, а отцу сказать, что он добыл ее в больнице, зная, что человеческая кожа самая лучшая. Для этого он обратился за помощью к Джованни, который, как вы знаете, весьма искусен по части всех инструментов, включая, чего вы, возможно, не знаете, и хирургические.

Джованни, чтобы брат его не превзошел, произвел ту же операцию на себе. Они были просто обязаны довериться мне, ибо я хорошая медсестра и умею обращаться с бинтами. Так что мне удалось с помощью бинтов, ухода и зашивания ран быстро вылечить их за очень короткое время. Разумеется, Липерата или Гвидо так ничего и не узнали. А сейчас — наиболее жуткая часть рассказа. Как Гвидо догадался обо всем этом, я так и не смогла понять. Есть одно лишь объяснение. Он очень ученый и любит зарываться в старые книги из библиотеки Андреа. Тот же самый пассаж мог попасться ему на глаза, и с помощью своей необыкновенной интуиции он моментально обо всем догадался. Он отправился к какому-то еврейскому врачу, этот коновал срезал с него кожу, и Гвидо принес ее братьям. Но операция была произведена очень скверно, мальчик он хрупкий, и все это возымело самые плачевные результаты. Он безнадежно болен, и мы не знаем, что делать.

Отцу мы ничего сказать не можем. Также невозможно довериться и врачу. К счастью, отец не верит врачам, зато верит нам. Очень хорошо, что мы все трое разбираемся в медицине: думаю, сейчас все понемногу выправляется. Вчера он почувствовал себя лучше и попросил переложить его из постели на диван в длинной комнате. Он попросил, чтобы его положили в виду боярышника, у открытого окна. Его это, кажется, приободрило. Он относительно оживился, особенно под дуновением ветерка, доносившего до него аромат красно-белых цветов. Мы с Джованни еще надеемся, Андреа — нет. Липерата, разумеется, вообще не понимает, что происходит. Отец тоже, совершенно уйдя в заботы о Гвидо, которого он любит больше всех.

Любящая Вас

Анастасия.

P.S. Наконец-то хорошая новость! Виола д'аморе закончена. Отец сошел вниз и сыграл нам. О! что за божественный тон это был! Гвидо сначала расплакался, а после ему немного полегчало. Отец оставил скрипку мне, чтобы я играла Гвидо, когда ему угодно. Да, надежда есть, что бы ни говорил Андреа».

Через какое-то не очень длительное время я получила от Анастасии другое письмо, глубоко траурное:

«Худшее произошло. В прошлую пятницу, после того, как в течение нескольких дней он чувствовал себя хорошо, Гвидо совсем было пришел в себя (в горе приходят на ум разные банальности; на мне было то же самое голубое платье, которое я надевала в день нашей с Вами встречи). В оконное стекло хлестал дождь, и ветер срывал цветы с боярышника, устилавшие землю, словно красно-белый снег. Кажется, это вогнало Гвидо в уныние. Он упрямился, просил меня спеть ему и сыграть на виоле д'аморе. «У нее такой сладкий тон», — сказал он с нежной, печальной улыбкой. — «Я немножко устал, хотя сейчас боли не чувствую. Мне уже не увидеть, как цветет боярышник».

Я запела старую этрусскую балладу — одну из тех песен, что еще можно услышать в сельских районах Тосканы, очень простой, грустный мотив, подыгрывая себе на виоле д'аморе. Во всяком

случае, это его успокоит, думала я. Так оно и было. Гвидо откинул голову и закрыл глаза. Постепенно дождь прекратился, ветер затих. Гвидо взглянул вверх. «Так-то лучше, — произнес он. — Я боялся ветра и дождя; а ты остановила их своей виолой. Смотри! Опять светит луна». Это была полная луна, сияющая сквозь ветви боярышника, которые отбрасывали на окно странные тени, а один луч падал прямоком на бледное лицо Гвидо. «Пой дальше», — попросил он слабо. И я запела, подыгрывая себе на скрипке. Страшное предчувствие овладело мной. Я отважилась не прекращать игру. Словно некая тень просочилась через порог, подползла к постели и склонилась над ним. И вдруг все струны виолы д'аморе лопнули! Странный вой исшел из деки. Я бросила скрипку и взглянула! И увидела, что слишком поздно.

Отец разбил виолу д'аморе и бросил обломки в огонь. Его тихие терзания невозможно описать. Я не в силах ничего больше поведать».

Когда я вновь оказалась во Фрейбурге, моим первым побуждением было пойти повидаться со старыми друзьями. Синьор да Риполи сильно постарел. Он все еще играет в соборе. Знал ли он о том, что произошло? В любом случае, он больше не предпринимал попыток смастерить виолу д'аморе; и о ней в его присутствии нельзя заговаривать.

Джованни и Липерата вернулись в Италию, где открыли мастерскую. Ходят слухи, что Липерата скоро выйдет замуж. Но Анастасия остается с отцом. Не думаю, что когда-нибудь она сочтается браком. Андреа пал жертвой постоянной депрессии. Он обитает в одинокой башне. Именно по его настоянию на могиле Гвидо начертаны следующие слова:

La musica e l'amor che muove il
sole e l'altre stelle.¹

¹ «Музыка и любовь, что движет солнце и светила» (ит.) — измененная цитата из заключительного стиха «Божественной комедии»: «Рай», XXXIII, 145 (пер. М. Лозинского).

Яйцо альбатроса

Верхушку окруженного морем заброшенного маяка вряд ли назовешь подходящим или хотя бы желательным пристанищем для маленькой девочки. Там-то и обитала Марина.

Население Вареньи, кажется, не склонно было считать это чем-то необычным. Она всегда там жила: и когда родители ее умерли, она осталась там одна. Кроме того, было в ней что-то таинственное; и хотя в городе ее хорошо знали и даже любили, это не мешало людям думать, что с ней что-то не так.

Варенья — это остров в Вест-Индии, не очень известный широкой публике; тем не менее, сюда стекается множество иностранцев в поисках редких орхидей, бабочек и особенно яиц водоплавающих птиц, кои сделали остров своим оплотом. Иностранцы, приезжающие туда, в основной массе богатые люди, владеющие собственными яхтами, и остров преуспевает за их счет. Порой, довольно редко, сюда заходят и пароходы.

Говоря, что родители Марины умерли на маяке, я не совсем следую истине, потому что они не были ее родителями: но нашли ее не в капусте, а выловили из моря сетью для ловли макрели, когда ей было годика три. Откуда она была родом, кто были ее родители, никто не знал. Когда ее выловили, она не умела говорить. Она не тонула: напротив, отлично держалась на воде, как щенок или котенок. Все признавали, что у нее белая кожа и другие характерные черты жителей Окторуна. Но люди все равно считали ее не от мира сего. Она, казалось, не понимала и не откликалась ни на один известный язык; однако быстро выучила португальский. К этому-то странному морскому чаду и привязалась старая чета, потерявшая в море единственного ребенка, назвав ее Мариной, по месту ее происхождения.

К тому времени был уже построен новый маяк, но им было разрешено оставаться на старом месте. Двое стариков умерли почти одновременно; и Марина осталась одна. Она никому не

принадлежала, и никто особенно не горел желанием ее приютить. Но, как я уже сказал, ее любили в городе, где она появлялась со своими странными товарами; ибо вот чем она зарабатывала на жизнь.

Она собирала всяческие диковинные, переливчатые раковины и делала из них ожерелья, шкатулки и всякое прочее. Также она делала забавные букетики из сухих водорослей. Но основным источником ее заработка были яйца чаек, кайр, морских ласточек, пингвинов и других птиц.

Как ни странно, все они с нею вели себя как ручные. Они прилетали к ней за кормом и позволяли ей вынимать яйца из своих гнезд. Она никогда не брала больше одного яйца. Будучи необычайно ловкой, она могла без труда вскарабкаться по скалам к птичьим твердыням.

Она была специалистом в этом деле. Если кто-либо другой пытался собирать их яйца, птицы всяческого калибра слетались отовсюду и единодушно, безжалостно набрасывались на пришельца.

Итак, раз в неделю можно было увидеть, как странная фигурка переплывает залив в лодчонке, выкрашенной собственноручно в зеленый цвет и украшенной причудливыми кораллами и раковинами.

Одевалась Марина очень просто, — в свободный белый балахон, подпоясанный шелковым кушаком цвета морской волны; одним исключительно удачным днем она сумела купить сей предмет облачения, всегда манивший ее. Ноги ее были вечно босы; однако она носила ожерелья и браслеты из раковин, а на голове — венки из нежных водорослей.

У нее были зеленые глаза; волосы ее тоже были своеобразного оттенка, при определенном освещении казавшегося зеленым. Так что не было ничего странного в том, что суеверные считали ее водяной феей.

Поэтому, несмотря на то, что жила она одна, она была в безопасности, ибо никто не посягал на ее добро или на нее саму. Остальное время она проводила, плавая или катаясь на лодке или

бродя меж скал в поисках разных даров моря. Только вот ее наряд тогда был еще проще, чем воскресный. Боюсь, бедная Марина была язычница. Но опять же, у семи нянек дитя без глаза. Эти пресловутые семь нянек и дали ей религиозное воспитание, да и всякое воспитание вообще. Священники в этой части света не самого высокого сана; да и они еще суевернее своих прихожан. Почтенный падре не особенно утруждал себя связями с созданием, которое, по его мнению, не принадлежало к роду людскому; кроме того, ему за это никто не платил. В самом деле, некоторые утверждали, что она даже не была крещена.

Как-то нечто вроде религиозного чувства все же пробудилось в ней; она увидела в витрине лавки инталию¹, вырезанную в зеленом камне, которая изображала почтенного вида старика с трезубцем, стоящего меж двух вздыбившихся гребней, откуда возникали фигуры прекрасных дев с длинными струящимися волосами и юношей, дующих в спиральные раковины. Вещица обрадовала ее несказанно. Настолько, что она решила потратить на нее все свои сбережения, которые, думаю, были равны трем долларам. Так что однажды она явилась в лавку и триумфально потребовала гемму, выложив на прилавок все свое богатство.

— Но, дорогая моя, — сказал лавочник, — эта вещь стоит пятьдесят долларов.

Она оцепенела. Пятьдесят долларов! О таких деньгах она и не слыхивала.

И она молча заплакала.

Поблизости оказался интеллигентный англичанин, прибывший сюда на своей яхте в поисках орхидей. Драматизм и комичность ситуации поразили его. Он выложил пятьдесят долларов и отдал инталию девочке.

Она не могла верить своим глазам; прижав свое сокровище к груди, она исчезла подобно вспышке молнии; со всех ног пробежала через город, прыгнула в свою лодчонку, доплыла до островка и не успокоилась до тех пор, пока не достигла своего убежища на верхушке маяка.

1 Инталия — гемма с углубленным изображением.

При случае она забредала в церковь, отчего получила довольно искаженные представления о культе, которого не понимала; поэтому сейчас, подражая виденному в церкви, она повесила иконику в уголок комнаты и зажгла перед ней неугасимую лампаду.

Вкратце поясню, что представляла собой эта комната. Она была шестиугольной; Марина расписала ее странным волнистым узором своего любимого цвета морской волны. Почти все углы были украшены раковинами и водорослями, из которых она сложила также замысловатый фриз. Мебель была самая простая; на единственном столе стоял большой аквариум, подарок богатого иностранца; в нем она развела подобие сказочного сада, с водорослями вместо деревьев и всевозможными морскими анемонами вместо цветов. Остаток мебели составляли два больших сундука: в одном она устроила себе роскошную постель, устланную перьями морских птиц; в другом помещалось нечто более странное, а именно, в нем высиживал свое единственное яйцо альбатрос. Стульев в комнате не было; ибо если она и садилась, то садилась прямо на пол; камина тоже не было, ибо на острове никогда не бывает холодно. Большую часть времени она проводила на открытом воздухе; найденную на берегу еду можно было и не готовить. В самом деле, она была настолько самостоятельна, что могла съесть моллюска, а потом продать его раковину. В крайних случаях она довольствовалась салатом из водорослей, который не настолько уж несъедобен, как кажется тем, кто его никогда не пробовал.

Окна ее комнатки были всегда раскрыты, и птицы влетали и вылетали в них; она частенько покупала для них в городе еду, что стоило ей гораздо дороже того, что она покупала для себя.

Но самым близким другом ей был альбатрос, названный ею Альмотана, который вил свое гнездо в ее ящике уже третий год подряд. И когда альбатрос на время вылетал, Марина сидела на яйце сама, чтобы оно оставалось теплым; и альбатрос это понимал, ибо никуда не улетал, если девочки не было рядом. Раз в день в течение сезона другой альбатрос по имени Вандальфа прилетал навестить подругу. Но ему совсем не улыбалось высиживать яйцо, если девочка могла выполнить за него эту обязанность.

Откуда она взяла эти имена, не сообразующиеся ни с одним известным языком, трудно установить. Известно лишь то, что когда ее подобрали, она лепетала что-то на некоем неразборчивом жаргоне, который продолжала использовать и дальше, особенно если бормотала себе что-то под нос.

Однажды к Варенье *действительно* пристал пароход. Это было нечто вроде частного судна, совершающего более или менее кругосветные путешествия. На нем прибыли люди всех типов и сословий; вернее, типов многих, а сословия лишь одного: все это были коллекционеры, охотящиеся за разными предметами, и спортсмены, находящие забаву в стрельбе по кайрам; и никаких пассажиров четвертого класса.

Среди них был один немецкий профессор по фамилии Заммлер. Герр Заммлер коллекционировал все. Из бедного профессора зоологии и ботаники он неожиданно превратился в богача. Так что сейчас он мог позволить себе полностью погрузиться в свою манию.

Однажды в субботу, как обычно, Марина отправилась со своими товарами на рынок; только-только наступил период размножения птиц, и у нее с собой было множество самых разных яиц.

К ее лотку приблизился некий господин благожелательного вида с длинной седой бородой и в очках, в компании человека, хорошо известного в городе, португальского еврея Леви Мендеша, который подрабатывал гидом и переводчиком для иностранцев, прибывающих на остров. Благожелательный господин выказал громадный интерес к яйцам, собранным Мариной. Его запас португальских слов был несколько ограничен; поэтому он вынужден был общаться через переводчика. Между ними возник некий спор — по-немецки, которого Марина, разумеется, не знала. Но быстрый ее разум подсказал ей, что еврей хочет сбить ее цену, а немец хочет заплатить ту цену, которую она просит. Кончилось это тем, что герр Заммлер — а это был он — дал ей больше, чем она когда-либо получала. Затем Мендеш увлек профессора Заммлера в сторону, и между ними состоялся такой разговор:

— Вы сказали, герр профессор, что особенно интересуетесь яйцами альбатроса. Так вот, у этой девчонки есть одно. Вы же знаете, как их трудно достать.

— Знаю, — отвечал профессор. — К тому же на этом острове живет одна необычная разновидность альбатросов. Это было бы просто нечто, если бы я смог раздобыть одно их яйцо.

— Ну что ж, — сказал еврей, — думаю, я бы мог помочь вам — и задешево. Ребенок не знает цену деньгам. Простите меня, но с вашей стороны было довольно неразумно давать ей столько за другие яйца. Ведь у нее нет никакого представления о сравнительной стоимости.

— Я определенно не настроен на то, чтобы пользоваться слабостью маленькой девочки, — сказал профессор. — Я дам ей за яйцо хорошую цену. Но вернемся обратно, и вы сможете договориться, когда я смогу взглянуть на яйцо.

Они вернулись к ее лотку. Еврей заговорил обиняками:

— Этот большой синьор очень хочет посмотреть на твое яйцо альбатроса. Не можешь ли ты показать его ему?

— О да, — ответила Марина, которую особенно впечатлила добропорядочная наружность незнакомца, к тому же распирала гордость от того, что она может показать свое сокровище.

— Когда нам удобнее всего прийти? — спросил Мендеш.

— А завтра в три, — ответила девочка. — Как раз в это время наша Альмотана улетает поразмяться.

Итак, на следующий день герр Заммлер с гидом поднялись на верхушку маяка, где обнаружили Марину, высиживающую яйцо.

— Ну разве не красивое? — спросила она, вставая и указывая на яйцо.

— Может ли синьор взглянуть на него? — спросил Леви.

— Не знаю, понравится ли это Альмотане, — засомневалась Марина, — но если он будет обращаться с ним осторожно...

Профессор взял яйцо.

Странная штука — эта мания коллекционирования. Люди, которые в иных обстоятельствах просто неспособны на бесчестный

поступок, доходят до воровства, лишь бы заполучить какой-нибудь редкий объект их вождения.

— Скажи ей, — произнес герр Заммлер, — что я дам за него двадцать долларов.

— Синьор говорит, что даст тебе за него два доллара, — перевел Мендеш.

— Нет, нет, нет, вы должны мне его отдать! — закричала Марина.

— Нет, дорогая, — выпалил немец на исковерканном португальском, — не два доллара — двадцать долларов — целых двадцать пять долларов!

— Нет, оно не продается, — кричала девочка. — Альмотана кладет только одно яичко, что она скажет, когда увидит, что оно пропало?

И она горько расплакалась. Тут профессор, не совладав со страстью коллекционера, тихонько положил яйцо в карман, но, будучи по природе человеком незлым, попытался успокоить бедное дитя и вытащил из кармана две банкноты по двадцать долларов.

Марина до этого никогда не видала банкнот. Она взяла бумажки, даже не понимая, каково их назначение.

— Вам лучше сейчас уйти, — сказал Мендеш и потащил герра Заммлера вниз по лестнице.

Девочка, зажав банкноты в руке, последовала за ними; и ее лодчонка даже сумела обогнать их барку с четырьмя гребцами. Так она и шла за ними по городу, жалобно повторяя:

— Отдайте мне яйцо!

Конечно, собралась толпа, и естественным образом возник вопрос, из-за чего шум.

— Не знаю, чего она хочет, — защищался Мендеш. — Она сумасшедшая. Смотрите, синьор купил у нее яйцо альбатроса. Вот оно. И он дал ей сорок долларов. Смотрите, у нее в руках эти сорок долларов.

И они действительно были у нее в руке — две бумажки, почти разлезшиеся в клочки от соприкосновения с веслами.

Люди попытались объяснить ей, что синьор купил яйцо.

Неожиданно Марина попыталась выхватить яйцо из рук Мендеша; в схватке оно упало на землю и разбилось.

Марина мертвенно побледнела и рухнула на землю в глубоком обмороке.

Немец, человек, как я уже говорил, незлой, велел, чтобы ее отнесли к нему в гостиницу, и наказал хозяйке положить девочку в лучшую постель, которую только можно было сыскать.

Хозяйка, женщина добрая, к тому же желавшая обязать профессора и боявшаяся причинить зло водной фее, окружила ее чрезвычайной заботой.

Долгое время Марина была без сознания, а потом, наполовину очнувшись, впала в глубокий сон. Видя, что она уснула, хозяйка отошла от нее. Девочка не просыпалась до самого рассвета.

Она проснулась в большой комнате, в большой постели. Прошло какое-то время, прежде чем она вспомнила все. Затем она, в одной ночной рубашке, открыла окно, спустилась вниз по водосточной трубе и сбежала.

Вернувшись в свою крепость, она закричала:

— Альмотана! Альмотана! — желая рассказать птице на своем странном наречии, что произошло.

Вместо ответа послышался горестный крик. Она увидела кружащего альбатроса, оплакивающего утрату своего яйца. Подбежав к окну и вытянув руки, она молила альбатроса залететь внутрь. Но птица все кружилась и кружилась, горестно крича.

Наконец, в напрасных попытках схватить альбатроса, Марина потеряла равновесие и упала в воду.

Конечно, она уже не вынырнула.

Странную картину можно было наблюдать тем утром на берегу: волнами на берег вынесло тело ребенка в простой белой ночной рубашке; над ним стоял, раскинув крылья, альбатрос. Рядом показалась лодка — одна из шлюпок с парохода. В ней было двое англичан. Один был плотный, мускулистый молодой человек типично английского вида; хорошо сложенный, быть может, но совершенно неграциозный; здоровый, возможно, но совершенно лишенный цвета, жизненной силы, у него были глупые, снулые, апатичные, наглые глаза, присущие этому типу; черты, возможно,

хорошие, но совершенно тупые и вялые, без какой-либо выразительности; голова его поросла густым, жестким волосом. Одет он был в костюм кричащей шахматной расцветки со стоячим воротничком и никербокеры, на голове его было кепи; в руке он держал ружье.

Второй выглядел иначе: человек старшего возраста, в наружности которого проскальзывало какое-то подобие интеллигентности и утонченности.

— Говорю вам, Дженкинс, — произнес молодой, — нам выпал шанс: вон альбатрос. Мы, наконец, добудем хотя бы одного. А то вы помните, какой беготни нам задал этот последний, которого мы зацепили крючком: чертова тварь порвала леску и дала деру вместе с крючком.

— Я подумал, что это ужасно, — сказал второй. — Птица была совсем ручная и летела за кораблем несколько дней. Вспомните судьбу Старого морехода.

— К черту Старого морехода! — огрызнулся первый.

— Не думаю, чтобы вам была знакома история Старого морехода. Но есть и другое соображение, более практического свойства, которым я бы хотел с вами поделиться. Вам не следует стрелять в альбатроса, ибо местные относятся к этим птицам с суеверным уважением, и вам это может выйти боком.

— Да плевать мне, что скажут эти поганые португалыцы! — бросил молодой человек, прицеливаясь. Он выстрелил. И пуля попала в цель.

И в ту же секунду сверху налетел альбатрос гораздо большего размера и ударил его своим мощным крылом. Второму англичанину понадобилось не много времени, чтобы установить, что удар был смертельным.

Еще более странная картина предстала глазам рыбаков, пришедших на берег за своим обычным занятием. На кромке берега лежала мертвая Марина; и на груди ее покоился мертвый альбатрос, которому пуля попала прямо в сердце. А над ними описывал круги самец-альбатрос, громким криком оплакивая смерть своей подруги.

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ВАМПИРА

Обычно действие рассказов о вампирах происходит в Штирии; мой — не исключение. На деле Штирия совсем не то романтическое место, каким предстает в описании людей, ни разу там не бывавших. Это плоская неинтересная страна, чью славу составляют лишь индейки, каплуны да глупость обитателей. В книжках вампиры обычно появляются по ночам, в каретах, запряженных парой черных лошадей.

Наш вампир прибыл после обеда — на зауряднейшем поезде. Вы, наверное, думаете, что я вас разыгрываю или что под словом «вампир» имею в виду какого-нибудь кровососа-ростовщика. Но нет, я говорю всерьез. Тот вампир, о котором я поведам рассказ, что опустошил мой дом и разрушил семью, был *настоящим*.

Обычно вампиров рисуют смуглыми людьми зловещей наружности и необычайной красоты. Наш вампир, напротив, был белокур, на первый взгляд ничем зловещим не отличался, и хотя обладал определенной привлекательностью, необыкновенным красавцем его было не назвать.

Да, он разорил наш дом, погубил сначала брата, которого я обожала, а затем моего дорогого отца. И, тем не менее, должна признать, что я также стала жертвой его чар и, вопреки всему, не питаю к нему враждебных чувств.

Несомненно, вы читали в различных газетах о «Баронессе и ее питомцах». Я хочу поведать о том, как случилось, что я растратила большую часть своего состояния на приют для бездомных животных.

Ныне я уже стара, а в ту далекую пору мне было лет тринадцать. Вначале опишу наше семейство. Мы были поляками и носили фамилию Вронские; мы жили в Штирии, в нашем замке. Круг домочадцев был весьма узок и, если не считать слуг, состоял из отца, гувернантки-бельгийки — достопочтенной мадемуазель Воннар, — моего брата и меня самой. Позвольте начать с отца: он

был стар, мы с братом были поздние дети. Мать я совсем не помню: она умерла родами, производя на свет моего брата, который был младше меня на год с небольшим. Отец увлекался наукой и вечно был погружен в посвященные разным малопонятным предметам книги, написанные на множестве незнакомых языков. У него была длинная седая борода, он носил черную бархатную ермолку.

Как же добр был он с нами! Доброта его не поддается описанию. Однако я не была его любимицей. Сердце его принадлежало Габриэлю — или Гавриилу, — так мы произносили это имя польски. Но чаще всего его звали по-русски Гаврилой, — разумеется, я говорю о своем брате, так живо напоминавшем маму, какой она изображена на единственном ее портрете, легком наброске мелом, висевшем в кабинете отца. Нет, я никогда его не ревновала: милый брат был и останется единственной любовью моей жизни. И это ради него я содержу сейчас в Вестбернском парке приют для бродячих собак и кошек.

В ту пору, как уже говорилось, я была еще ребенком; звали меня Кармела. Мои длинные волосы были вечно растрепаны и не слушались гребня. Я не была хорошенькой — по крайней мере, глядя на фотографии той поры, не решусь так о себе сказать. И в то же время лицо мое, каким оно запечатлено на этих пожелтевших снимках, могло бы привлечь чье-нибудь внимание — неправильные черты, большой рот и огромные шальные глаза.

Меня считали озорной девчонкой, но, как считала мадемуазель Воннар, в озорстве я все же уступала Габриэлю. Должна добавить, что мадемуазель Воннар, средних лет дама, была замечательным человеком, отлично говорила по-французски, хоть и была бельгийкой, и могла также объясниться по-немецки, а на этом языке, известно вам это или нет, говорят в Штирии.

Мне трудно описывать брата; в нем чувствовалось нечто странное, нечеловеческое или, лучше сказать, сверхчеловеческое, нечто среднее между животным и божеством. Возможно, греческое представление о фавне может отчасти проиллюстрировать мои слова; но и оно не совсем верно. Глаза у Габриэля были

большие, беспокойные, как у газели. Вечно спутанные волосы напоминали мои — нас вообще многое объединяло, и я впоследствии узнала, что в жилах матери текла цыганская кровь, — очевидно, этим и объяснялась наша буйная натура. Но если я была диковата, то Габриэль был просто необуздан. Ничто не могло заставить его носить ботинки и чулки, кроме как в воскресные дни, когда он также позволял расчесывать себе волосы. Но только мне одной. Как описать его прекрасные губы, изогнутые в виде «en arc d'amour»¹! При взгляде на них мне всегда вспоминалась строка из Псалтири: «Благодать излилась из уст Твоих, посему благословил Тебя Бог на веки»², — уста, которые, казалось, изливали само дыхание жизни! А это гибкое, подвижное, стройное тело!

Он бегал быстрее любого оленя; скакал, как белка, по самым верхним ветвям деревьев. Он был олицетворением жизненной энергии. Нашей гувернантке не всегда удавалось усадить его за уроки; но если он все же уступал, то учился с необычайной быстротой. Он умел играть на всех инструментах, хотя скрипку держал как угодно, но только не принятым способом: мастерил инструменты из тростника — даже из хворостинок. Мадемуазель Воннар тщетно пыталась усадить его за фортепьяно. Мне кажется, он был просто избалован, пусть даже в самом поверхностном смысле слова. Отец потакал ему в каждом капризе.

Одна из его странностей заключалась в том, что он с малых лет испытывал ужас при виде мяса. Ничто не могло заставить Габриэля отведать мясное блюдо. Другой, совершенно необъяснимой чертой была его сверхъестественная власть над животными. Он мог приручить любого зверя. Птицы садились ему на плечи. Иногда мы с мадемуазель Воннар теряли его в лесу — он внезапно исчезал. А после долгих блужданий мы находили его под каким-нибудь деревом, где он тихо напевал или насвистывал на манер окружавших его лесных зверьков: ежей, лисичек, зайцев, сурков, белок. Он часто приносил их домой и требовал, чтобы

¹ Лук Амура (фр.)

² Пс. 44, 3.

они жили с ним. Этот странный зверинец был настоящим бедствием для мадемуазель Воннар. Своим жилищем он избрал комнатушку на самом верху замковой башни; вместо того, чтобы подниматься туда по лестнице, он забирался в окно по ветвям высокого каштана. И все же, несмотря на все причуды, Габриэль каждое воскресенье, причесанный, облаченный в белый стихарь и красную сутану, прислуживал при богослужении в приходской церкви. При этом выглядел он скромно и благовоспитанно. А затем божество проявляло себя. Каким экстазом наполнялись эти чудные глаза!

Я пока ни словом не обмолвилась о вампире. Но позвольте же, наконец, начать мое повествование. Однажды отец поехал в соседний город, как это частенько случалось. Но на сей раз он вернулся в сопровождении гостя. По его словам, этот господин не попал на свой поезд из-за задержки на узловой станции, а поскольку поезда в наших краях ходили нечасто, ему предстояло провести на вокзале всю ночь. Он случайно разговорился с отцом, пожаловавшись на досадную задержку, и охотно согласился на предложение переночевать в нашем доме. Да вы и сами знаете, что в этой глухой провинции мы почти патриархальны в своем гостеприимстве.

Господин назвался графом Вардалеком, из венгров. Однако по-немецки он изъяснялся довольно сносно, — не с этим монотонным венгерским произношением, а с легкой славянской интонацией. Его голос был до странности мягок и вкрадчив. Чуть позже мы узнали, что он говорит и по-польски, а его французский привел мадемуазель Воннар в восхищение. Казалось, он владеет всеми языками. Но позвольте описать мое первое впечатление. Он был высок, красивые вьющиеся, довольно длинные волосы сообщали нечто женственное его гладкому лицу. В его фигуре чувствовалась нечто змеиное — не могу сказать, что именно. Утонченные черты лица — и притягивающие взор изящные руки с длинными пальцами, тонкий, с горбинкой, нос, красивый рот и привлекательная улыбка, контрастировавшая с печалью, застывшей в глазах. Когда он появился, глаза его были

полузакрыты — и оставались такими все время, — поэтому я не сумела распознать их цвет. Выглядел он донельзя измученным. Его возраст не поддавался определению.

Внезапно в комнату вбежал Габриэль; в волосах его запуталась желтая бабочка. В руках он держал бельчонка и был, как обычно, босоног. Незнакомец поднял взгляд на брата, и я увидела его глаза. Они были зеленые и словно бы расширялись, вырастали в размерах. Габриэль застыл перед ним, точно птичка, загипнотизированная змеей. Но, тем не менее, он протянул гостю руку, и тот пожал ее, зачем-то — не знаю, отчего мне запомнилась эта подробность — пощупав указательным пальцем пульс на его запястье. Внезапно Габриэль бросился вон из комнаты и ринулся к себе наверх, на этот раз по лестнице, а не по веткам дерева. Я была в ужасе оттого, что граф подумает о нем. К великому моему облегчению, Габриэль вскоре спустился в бархатном воскресном костюмчике, чулках и ботинках. Я причесала его и вообще привела в порядок.

Когда гость спустился в гостиную к ужину, его наружность переменилась; сейчас он выглядел гораздо моложе. Я никогда не видела у мужчин такой упругой кожи, такого изящного телосложения. До этого меня поразила его бледность.

Во время ужина он очаровал всех нас и в особенности отца. Казалось, ему знакомо все, чем так увлекался отец. Когда отец завел речь о своем военном прошлом, Вардалек вскользь упомянул о маленьком барабанщике, тяжело раненном в бою. При этом глаза его снова раскрылись, расширились, и на этот раз выражение их было особенно неприятно: мертвенно-тусклый взгляд, оживленный в то же время каким-то жутковатым возбуждением. Впрочем, выражение это тут же пропало.

Главной темой застольной беседы были некие мистические книги, которые отец недавно приобрел у букиниста и в которых никак не мог разобраться, причем оказалось, что Вардалек прекрасно понимает, в чем дело. Когда подали десерт, отец спросил, торопится ли граф завершить свое путешествие: если спешка не велика, не откажется ли он погостить у нас какое-то время: хотя

мы и живем в глуши, он может найти в нашей библиотеке много интересного.

— Я не спешу, — отвечал Вардалек. — У меня нет особой причины продолжать свое путешествие, и если я могу помочь вам в толковании книг, то буду рад оказать услугу.

И он прибавил с улыбкою — горькой, очень горькой:

— Видите ли, я космополит, скиталец по земле.

После ужина отец спросил его, не играет ли он на фортепьяно. Тот ответил:

— Да, немного, — и, сев за инструмент, заиграл венгерский чардаш — бурный, упоительный, чудесный. Эта музыка сводит мужчин с ума. Он играл и играл в том же ритме.

Габриэль застыл у пианино, глаза его расширились и невидяще смотрели вдаль, тело сотрясала дрожь. Наконец, выбрав момент в мелодии, который можно было бы назвать *relâche*¹, когда исходная, обманчиво-медленная часть чардаша начинается вновь, он проговорил:

— Пожалуй, я мог бы это сыграть.

Быстро сбегав за скрипкой и самодельным ксилофоном, он и вправду сыграл мелодию, меняя инструменты. Вардалек взглянул на него и печально произнес:

— Бедное дитя! Музыка — в твоей натуре.

Я не могла понять, почему он сочувствует Габриэлю, а не по здравляет его с необыкновенным даром.

Габриэль был застенчив даже с ластящимися к нему дикими зверюшками. Незнакомых людей он всегда сторонился. Если к нам приезжал незнакомец, Габриэль обычно прятался у себя в башне, и я доставляла ему туда еду. Представьте же мое удивление, когда на следующее утро я увидела его в парке с Вардалеком, — они гуляли, держась за руки и оживленно беседуя, и Габриэль показывал тому своих лесных зверей, из которых мы устроили настоящий зоологический сад. Казалось, он полностью находится под властью Вардалека. Удивило нас то (ибо не-

¹ Остановка, перерыв (фр.)

знакомец пришелся нам по нраву, особенно за свою доброту к Габриэлю), что Габриэль на первый взгляд незаметно — хотя это не относилось ко мне, замечавшей все происходящее с ним, — теряет присущие ему здоровье и живость. Бледным он, правда, не был; но в движениях его появилась некоторая вялость, которой прежде не было.

Отец все больше и больше увлекался графом Вардалеком. Тот помогал ему в штудиях, и вскоре уже отец с трудом соглашался отпускать Вардалека в его поездки — как тот говорил, в Триест. Возвращался он всегда с подарками для нас — странными восточными драгоценностями или тканями.

Я знала, что в Триесте случалось бывать разным людям, в том числе и из восточных стран. Однако было в этих вещах нечто настолько странное и великолепное, что я была уверена, что они не могли быть куплены в Триесте, который запомнился мне главным образом своими галстучными лавками.

В отсутствие Вардалека Габриэль только и говорил о нем. И в то же время прежние сила и живость возвращались к нему. Вардалек же по возвращении всегда выглядел старше, устатее, слабее. Габриэль подбегал к нему и целовал в губы. При этом по телу Вардалека пробегала дрожь, и скоро он обретал прежний молодой вид.

Так продолжалось довольно долго. Отец не желал больше слышать об окончательном отъезде Вардалека. Тот постепенно превратился в домочадца. Мы с мадемуазель Воннар не могли не заметить необычную перемену, случившуюся с Габриэлем. И только один отец был абсолютно слеп ко всему.

Однажды ночью я спустилась в гостиную, чтобы захватить какую-то забытую там вещь. Поднимаясь вверх, я прошла мимо комнаты Вардалека. Он играл на фортепьяно, которое специально было установлено в его комнате, один из ноктюрнов Шопена. Он играл так хорошо, что я остановилась и, прислонившись к перилам, заслушалась.

Внезапно в полумраке лестницы возникла белая фигура. В наших местах верят в привидения. Оледенев от ужаса, я вцепилась в перила. Каково же было мое изумление, когда я увидела

Габриэля, медленно спускавшегося вниз, с заставшим взглядом, точно в транс! Это напугало меня еще больше, чем предполагаемый призрак. Могла ли я поверить своим глазам? Был ли то Габриэль?

Я не могла пошевелиться. Габриэль, в длинной ночной рубашке, спустился по лестнице и открыл дверь в комнату Вардалека. Дверь осталась открытой. Вардалек, продолжая играть, заговорил, на этот раз по-польски:

— Nie umiem wyrazić jak ciebie Kocham¹. Мой милый, я бы с радостью пощадил тебя; но твоя жизнь — моя жизнь, а я должен жить, хотя куда охотнее бы умер. Неужели Бог не сжалится надо мной? О, жизнь! о, муки жизни! — Он взял полный отчаяния аккорд и стал играть заметно тише. — О, Габриэль! любимый мой! Жизнь моя, да, жизнь — но отчего жизнь? Мне кажется, это самое малое из того, что я хотел бы взять у тебя. Ведь при том изобилии жизни, что в тебе, ты можешь уделить толику ее тому, кто уже мертв. Но постой, — произнес он почти грубо, — чему быть, того не миновать!

Габриэль все так же стоял подле него, с пустым и застывшим взглядом. По-видимому, он явился сюда в состоянии лунатического сна. Вардалек, вдруг прервав мелодию, издал горестный стон, а затем сказал с нежностью:

— Ступай, Габриэль! Довольно.

При этих словах тот вышел из комнаты и поднялся по лестнице к себе все той же медленной поступью и с тем же невидящим взором. Вардалек ударил по клавишам, и хотя играл он не очень громко, мне казалось, что струны вот-вот оборвутся. Ручаясь, вам никогда не услышать музыки настолько странной и душевраздирающей.

Я знаю лишь, что утром меня нашла у подножия лестницы мадемуазель Воннар. Был ли это сон? Сейчас я знаю, что нет. А тогда меня терзали сомнения, и я никому ничего не сказала. Да и что я могла сказать?

1 Не могу выразить словами, как я тебя люблю (польск.)

Позвольте мне сократить эту длинную историю. Габриэль, который в жизни не знал болезней, внезапно захворал, и мы вынуждены были послать в Грац за доктором, так и не нашедшим объяснение странному недугу. Постепенное истощение, заключил он, при отсутствии органических заболеваний. Что могло это означать?

Даже отец, наконец, осознал, что Габриэль серьезно болен. Беспокойство его было ужасно. Последние темные волосы в его бороде пропали, и она стала совсем белой. Мы привозили докторов из Вены. Результат оставался тем же.

Габриэль приходил в сознание лишь изредка, узнавая одного Вардалека, который постоянно сидел у его постели и ухаживал за ним с исключительной нежностью.

Однажды я сидела в соседней комнате и вдруг услышала внезапный неистовый крик Вардалека:

— Быстрее! Пошлите за священником! Быстрее! — повторял он и добавил: — Теперь уже поздно!

Габриэль протянул руки и судорожно обвил ими шею Вардалека. Это было его единственное движение за долгое время. Вардалек склонился к нему и поцеловал в губы. Я бросилась вниз, чтобы позвать священника. Когда мы вернулись, Вардалека там уже не было. Священник соборовал Габриэля. Думаю, к тому времени тот был уже мертв, хотя тогда мы еще в этом сомневались.

Вардалек навсегда исчез из замка; мы так и не смогли найти его, и с тех пор я ничего о нем не слышала.

Вскоре умер и мой отец: он как-то внезапно постарел и согнулся от горя. Все состояние Вронских перешло ко мне. В память о Габриэле я открыла приют для бездомных животных, и теперь на старости лет люди смеются надо мной — они по-прежнему не верят в вампиров!

ПЕРВЯЧОК УДАЧИ

— Нет, мама больше меня не любит; а папу я ненавижу.

Так говорил, стоя посреди леса, мальчик лет четырнадцати, в темных глазах которого читались гордость и вызов. Он был с непокрытой головой, ветер развевал его волосы, но все же одет он был прилично. Наружностью он был очень похож на Иоанна Крестителя с известной картины Андреа дель Сарто. Ему пришлось в голову многое, да, пожалуй, вся его жизнь. Отца он помнил смутно. Всего только и запомнился ему смуглый человек, который был очень добр с ним и каждую ночь убаюкивал его очень необычной колыбельной, подыгрывая себе на скрипке. Затем вспомнилась ему жизнь, состоящая из палаток, фургонов и скитаний; после чего внезапно он перенесся на шикарную виллу где-то на побережье Адриатики. Сначала все шло хорошо. Его отчим относился к нему приветливо, дарил игрушки, а мать выводила его на прогулку наряженным в элегантный матросский костюмчик с золотыми галунами, что сделало его любимцем всех женщин в округе. Однажды он услышал слова отчима: «Я, право, еще не отчаялся сделать из Шандора джентльмена». Он не вполне понял, что это означало, но отчего-то замечание разозлило его. Потом возникла помеха. Родился ребенок. И граф фон Гратгейм, имея сына и наследника, передал права наследования ребенку от красивой цыганки, на которой женился в приступе непреодолимой страсти, ибо цыганские дочери не отдаются иначе.

Шандор обожал музыку и подобно любому цыганскому ребенку прекрасно играл на скрипке. Отчим же терпеть не мог музыки. А сам Шандор питал особую неприязнь к ребенку, который, как он думал, отобрал у него расположение матери. Он даже не желал находиться с ним в одной комнате. Так что все шло к худшему, и вот в день, когда ребенку исполнилось три года, Шандор сидел в уголке гостиной, скрытом пальмами и олеандрами,

импровизируя на своей скрипочке, — настолько погрузившись в это занятие, что даже не заметил, как вошел отчим.

— А, так это ты, *цыганенок*! — в бешенстве вскричал тот. — А ну, кончай пиликать! Ты и вправду не годишься для цивилизованного общества. От всей души желаю, чтобы ты убрался к своему народу.

Глаза Шандора полыхнули огнем, не говоря ни слова, он вышел из дому и отправился прямо в лес, захватив с собой одну скрипку.

Внезапно он услышал между деревьев пение струн — ксилофон, на котором играли цыганскую музыку. Он выглянул украдкой и увидел трех мужчин. Они прекратили играть. Один сказал:

— Куда пойдем — направо или налево?

Второй сказал:

— Наверно, лучше пойти направо, там есть город.

Третий сказал:

— Нет, нам нужно возвращаться; в следующее воскресенье — День теней, и у нас мало времени, чтобы вернуться восвояси.

Первый ответил:

— Ну да, конечно. Я и забыл. Нужно сниматься прямо сейчас.

Неожиданно из-за деревьев выскочил мальчик и закричал:

— Возьмите меня с собой. Я тоже немножко умею играть на скрипке.

Первый мужчина ответил очень мягко:

— Хорошо, малыш, мы возьмем тебя с собой, только знай, что у нас нелегкая жизнь. Мы, цыгане, не спим на пуховых перинах.

Второй заметил:

— Сдается мне, он нашего племени.

Третий закатал ему рукав и обнажил руку.

— Ого, — воскликнул он, — это же знак нашего рода. Как это понимать?

Но тут от истощения и возбуждения мальчика оставили чувства. Первый мужчина взял его на руки и произнес:

— Как он похож на Шандора!

Мальчик очнулся и пробормотал:

— А я и есть Шандор. Меня назвали так в честь отца, — и снова впал в беспамятство. Второй мужчина сказал:

— Ну вот, теперь я все понял. Это, должно быть, сын Гизелы, которая навлекла позор на наш род, выйдя замуж за чужака.

Третий откликнулся:

— Так ведь цыганскую кровь не приручишь. Он вернулся к своему народу.

— Да, — подтвердил мальчик, неожиданно оживая, — я вернулся к своему народу. Он назвал меня сегодня «цыганенком»!

— Дорогой мой, — сказал первый мужчина, — знаешь ли, что ты сын моего брата? Я твой дядя Ференц.

— О да, — ответил мальчик, — кажется, я видел вас раньше.

Итак, они привели Шандора в свой более-менее постоянный табор, и мальчик вскоре приспособился к их жизни. Ему сказали, что если в эту неделю он обнаружит совиное гнездо, возьмет оттуда яйцо и закопает его под ореховым деревом, ровно через семь лет на этом месте он найдет червячка, приносящего удачу. Совиные гнезда не так-то просто отыскать, но для желающих найти совиные яйца есть одно преимущество — сова повторно откладывает яйца, пока первая кладка еще в гнезде, так что в случае удачи можно завладеть ею, когда птица отправляется добыть корм для птенцов. Однажды ночью он увидел какого-то зверька, на которого сверху, из своего гнезда, с пронзительным криком упала большая белая сова. Тотчас же, быстрый, как мысль, он взобрался вверх по дереву, нашел в гнезде одно невысиженное яйцо и закопал его под ореховым деревом.

В день 23 апреля род избрал его представлять «Зеленого Георга». Его обнажили и украсили гирляндами из листьев, а затем погнали по лесу, словно Диониса. Сначала он немного испугался; он думал, что его хотят принести в жертву, но потом сказал себе: «Лучше быть принесенным в жертву собственному народу, чем жить с теми». Но его не принесли в жертву, лишь бросили в воду в чем был.

Семь лет он жил со своим родом. В тот самый день, когда он закопал совиное яйцо, он пришел на место и, раскопав землю, нашел длинную зеленую гусеницу, которую тут же проглотил.

Он всегда прекрасно играл на скрипке, но в ту ночь все были изумлены его игрой. Сами цыгане были поражены его оригинальностью и вдохновением. В результате было решено, что он будет странствовать в одиночку, играя на скрипке и зарабатывая деньги для рода. Однажды он забрел в один городок, где к нему подошел некий профессор и сказал:

— Да ведь ты замечательно играешь. Такой игры я прежде не слышал. Но самое удивительное в том, что ты можешь извлекать такие звуки из этой треснутой скрипчонки. Пойдем со мной, и я дам тебе скрипку Страдивари, которая досталась мне по наследству и на которой я не умею играть. Я только прошу в качестве вознаграждения сыграть на ней для меня разок.

Шандор согласился. В первый раз почувствовал он, какой силой обладает. В следующем городке он смело объявил о концерте. Этот концерт давал он один. Городок был небольшой, но весьма модный во время сезона. Модные люди, в поисках развлечения, собрались из любопытства послушать «der Grüner Georg»¹, который сам объявил о своем концерте. (Теперь он называл себя Зеленым Георгом, особенно сейчас, когда он был близко от знакомых мест). Аудитория была потрясена, и с этого дня он везде производил фурор. Деньги (большую часть которых он передавал роду) сыпались ему в руки; он стал светским львом. К счастью для него, он, несмотря на свое происхождение, уже бывал в обществе и знал его законы, — но все это не сбивало его с толку. Его вновь тянуло к прежней дикой жизни.

Однажды в своих странствиях он очутился в городе, где когда-то жил.

— Ха, ха! — вырвалось у него. — Они и не предполагают, что Зеленый Георг — это я!

Устав от роскоши, он часто углублялся в лес и спал на открытом воздухе. Сейчас он решил, что устроит себе ночевку в том месте, куда он сбежал семь лет назад. Он сидел там, наигрывая на скрипке и вспоминая прошлую жизнь, когда из-за деревьев вышел мальчик и произнес:

¹ «Зеленый Георг» (нем.)

— Я так люблю музыку. Можно мне послушать?

— Конечно, — ответил он. — Что ты хочешь, чтобы я тебе сыграл?

— О, все, что угодно, — сказал мальчик, усаживаясь у его ног. — Отец ненавидит музыку и не позволяет играть в доме; но я музыку люблю, особенно такую.

Шандор играл и играл; затем сказал мальчику:

— Скажи мне, как тебя зовут?

— Мать зовет меня Дюла, — ответит тот, — но отец — только Джулиус или Жюль, потому что он говорит, что мне нельзя называться венгерским именем.

— Кто тогда твоя мать? — спросил Шандор.

— О! моя мать — графиня фон Гратгейм.

— Она и моя мать тоже, — сказал Шандор.

— Значит, — сказал мальчик растерянно, — вы мой — брат.

— Да, милый, — ответил Шандор, целуя его. — Ты и вправду — мой брат.

— Но как вас зовут?

— У меня нет фамилии, но при крещении меня назвали Шандор.

— Шандор? — переспросил мальчик. — Да ведь только вчера мать сказала: «Если бы только знать, как там бедный Шандор!», а отец ответил: «Не упоминай его имени. Его очень кстати называли Шандором, ибо он навлек schande¹ на нашу семью». Я не знаю, что это значит, — простодушно добавил он.

— Однако, — сказал Шандор довольно желчно, — я уже не *бедный* Шандор. У меня куча денег. Отважусь заметить, что ты, можешь, даже слышал обо мне. Меня называют «Зеленый Георг».

— Так это вы Зеленый Георг! — воскликнул мальчик. — Я коплю деньги, чтобы послушать вас, а однажды я собрался улизнуть на один из ваших концертов. Папа все равно не позволит мне, потому что, не знаю, он просто не выносит всего, что связано с цыганами, а я вот услышал вас бесплатно.

— Дорогое мое дитя, — сказал молодой человек, — ведь ты тоже связан с цыганами. Наша мать цыганка, хотя, возможно, ты этого не знал.

Стояла поздняя осень, было довольно тепло; но пока они разговаривали, солнце село, совсем стемнело.

— Дитя, — сказал Шандор, — сейчас ты уже не сможешь добраться до дому, но если ты останешься здесь, я обещаю проводить тебя завтра утром. Дорогу я знаю, — добавил он с ноткой горечи. — Смотри, я заверну тебя в свою шубу. Я могу соорудить для тебя хорошую постель с подушкой из палой листвы. Я это хорошо умею. Сейчас не очень-то холодно. — И он пробормотал сквозь зубы: — Теперь *он* увидит, что цыганскую кровь не приручишь.

— Но вам самому будет холодно, — сказал мальчик.

— О нет, — ответил Шандор. — Я привык спать прямо на земле. Мы, *цыгане* (сказано это было тем же презрительным тоном, каким произнес это слово его отчим семь лет назад), не спим на пуховых перинах.

И он завернул мальчика в свою шубу и сделал ему удобную постель из листьев. Ребенок проговорил сонно:

— Шандор, братец, сыграй мне еще что-нибудь.

— Да, дорогой, — откликнулся он и заиграл ту колыбельную, которой убаюкивал его отец. То же действие произвела она на Дюлю; а там и сам он примостился рядом с братом. Ветер усиливался, листья сыпались сверху и укрывали Зеленого Георга сплошным покрывалом.

— Когда-то я был Зеленый Георг, — прошептал он печально, — а теперь я, кажется, пожелтел, — и он уснул.

Ночью, как часто бывает в тех местах, неожиданно похолодало. Повалил густой снег и укутал двоих в белый кокон. Затем ударил сильный мороз. Они этого не заметили; оба крепко спали, Дюля — положив голову на плечо брата. Но этот мороз умертвил и тепло укутанного мальчика, и крепкого молодого мужчину.

Если бы кто-нибудь оказался там в то необыкновенно холодное утро, он бы несказанно удивился при виде элегантно одетой дамы, бродящей по лесу и безутешно взывающей:

— Дюла! Дюла! Господи! Неужели, потеряв одного, я должна потерять другого!

Наконец, она пришла туда, где, укрытые снегом, лежали они.

— Дюла! — вскричала она. — Что ты здесь делаешь?

Потом она взглянула и узнала.

— Шандор, дитя мое, мой первенец! Ты здесь!

Она бросилась к нему и горячо поцеловала.

— Я твоя мать, разве ты не узнаешь меня? Проснись же! Скажи хоть слово!

Они не двигались. Ни единой слезы не уронила она. Сняв с себя свое роскошное соболиное мантио, она накрыла им своих детей, точно покровом. Потом она сняла с себя все кольца и украшения; и, отрезав свою черную косу, связала двоих своих сыновей этим странным ожерельем.

— Я возвращаюсь к своему народу, — промолвила она и ушла в лес.

МА СТОРОНА

Бретонская легенда

*À la joyeuse Messe noire*¹

— ...не то чтобы это мне по нраву, но после этого так хорошо... благодарствую, матушка Ивонна, можно еще капельку.

Так-то старухи, рассевшись вокруг камина, и попивали свой подогретый бренди с водой (принимаемый, конечно, исключительно в медицинских целях, как средство от ревматизма), и матушка Пинкель продолжала рассказ:

— Ну и вот, когда достигаешь вершины холма, там видишь алтарь с шестью свечами, такими черными, а между ними еще что-то, что никому еще не удавалось разглядеть, и старый черный баран с человеческим лицом и длинными рогами начинает служить мессу на какой-то непонятной тарабарщине, и две странные черные твари, вроде обезьян, выскальзывают откуда-то с книгой и сосудами, — и музыка, такая музыка. Там бывают твари, сверху до пояса как черные коты, а снизу как люди, только ноги их покрыты густой черной шерстью, они еще играют на волярках, и когда они всходят на возвышение...

Меж старух, на коврике перед камином, лежал мальчик, его огромные чуждые глаза расширились, а тело трепетало от страха.

— Это все правда, матушка Пинкель? — спросил он.

— Конечно, правда, и не только это, самое-то интересное впереди; потому что они берут ребенка и... — тут матушка Пинкель ослабилась, показав клыки.

— Матушка Пинкель! А ты тоже ведьма?

— Помолчи, Габриэль! — приказала матушка Ивонна. — Как у тебя язык поворачивается сказать такое? Ей-богу, мальчику давно пора в постель.

И тут же все, кроме матушки Пинкель, дрожа, перекрестились, ибо послышался самый жуткий звук на свете — волчий вой, начинающийся троекратным отрывистым лаем, который

¹ Веселой черной мессе посвящается (искаж. фр.)

переходит в долгое завывание, лютое и отчаянное одновременно, и заканчивающийся приглушенным рыком, полным извечной злобы.

Деревня стояла у самого леса, на этой стороне ручья, и никто не отваживался перейти ручей на ту сторону. Там, где была деревня, все было зелено, приветливо и плодородно; на той же стороне деревья никогда не выбрасывали зеленый лист, и тень лежала под ними даже в полдень, а по ночам оттуда доносилось завывание волков-оборотней, и людей-волков, и волков-людей, и еще тех нечестивцев, что каждый год на девять суток обращаются в волков; однако на зеленой стороне волков никогда не видели, и лишь маленький серебристый ручеек бежал посередине.

Наступила весна, и старухи оставили теплые местечка у каминов, предпочитая греться на солнышке у своих домиков, и были так довольны, что перестали рассказывать байки о «той стороне». Однако Габриэль по своему обыкновению продолжал гулять по берегу ручья, влекомый туда каким-то странным притяжением пополам со страхом.

Товарищи по школе не любили Габриэля; они издевались и насмехались над ним, потому что, кроткий по природе, он не был жесток; и как редкую, прекрасную птицу, сумевшую выбраться из клетки на волю, клюют обычные воробьи, так мучили Габриэля в школе. Всяк дивился тому, как матушка Ивонна, эта дородная, почтенная матрона, могла произвести на свет такого сына, со странными мечтательными глазами, который, по мнению всех, был «*pas comme les autres gamins*»¹. Другьями его были лишь аббат Фелисьен, в чьей церкви он прислуживал каждое утро, да девочка по имени Кармель, которая любила его неизвестно по какой причине.

Солнце уже село, а Габриэль все бродил по берегу ручья, исполненный смутного ужаса и неодолимого влечения. Солнце зашло, и выплыла луна, полная, огромная и очень яркая, свет ее затопил лес по эту и по ту стороны ручья, и Габриэль внезапно

1 не похож на других мальчишек (фр.)

заметил, как раз по ту сторону, огромный темно-синий цветок, чей странный пьянящий аромат донесся до него, заворожив на месте.

«Если бы только сделать один шагок, — подумал он, — ведь вреда не будет, если я только сорву цветок, и никто не узнает, что я переходил на ту сторону», — ибо жители деревушки встречали ненавистью и подозрением любого, кто переходил на «ту сторону», — так что, собрав все свое мужество, он легко перепрыгнул на тот берег. Луна, выйдя из-за тучи, засияла необыкновенно ярко, и он увидел прямо перед собой целое поле точно таких же странных синих цветов, один чудеснее другого, и, не в силах решить, сорвать ли один цветок или несколько, он все двигался и двигался вперед, и ярко сияла луна, и запела странная невидимая птица, чья песня была похожа на соловьиную, только громче и прекраснее, и сердце его заныло от желания неизвестно чего, а луна сияла, и пела птица. Но тут внезапно черная туча закрыла луну, и все погрузилось во тьму, стало черным-черно, и в этой тьме он услышал приближающееся завывание волков, словно преследующих добычу, и вот мимо проследовала жуткая процессия волков (черных, с красными горящими глазами), а с ними людей с волчьими головами и волков с человеческими, а над ними реяли совы (черные, с красными горящими глазами), и летучие мыши, и длинные змеевидные черные твари, и последним, верхом на огромном черном баране с отвратительным человеческим лицом, — хозяин волков, на лице коего лежала вечная тень; они не остановились и продолжали свою жуткую охоту; и когда они миновали его, луна засияла еще ярче, и странный соловей запел снова, и странные ярко-синие цветы вновь расстилались перед ним во все стороны. Одного лишь не было раньше: среди странных ярко-синих цветов шла она, с длинными сверкающими золотыми волосами, она обернулась — глаза ее были того же цвета, что и цветы, и Габриэль против своей воли последовал за ней. Но когда туча вновь набежала на луну, он увидел вместо прекрасной женщины волка и в ужасе метнулся прочь, сорвав по пути один цветок, одним прыжком перескочил ручей и бросился домой.

Дома он, не удержавшись, показал свое сокровище матери, хотя знал, что ей это совсем не понравится; но при виде странного синего цветка матушка Ивонна только побледнела и произнесла:

— Дитя, где ты взял его? Это же ведьмин цвет.

И она, выхватив цветок, зашвырнула его в угол, и тотчас же вся красота вместе с необычным ароматом испарились из него, он почернел, как будто обуглившись. И Габриэль с надутым видом, даже не поужинав, молча лег в постель, но не уснул, а подождал, пока все в доме не успокоится. Только после этого он тихонько прокрался вниз прямо в своей длинной белой ночной рубашке, чувствуя босыми ступнями холод каменного пола, торопливо схватил почерневший, увядший цветок и прижал его к своей теплой груди, — и немедленно цветок расцвел опять и стал еще чудеснее, и Габриэль уснул крепким сном, однако сквозь сон слышал мягкий низкий голос, поющий под окном на неизвестном языке (в котором мягкие звуки переливались из одного в другой), но ни единого слова не мог он разобрать, кроме своего имени.

Когда наутро он отправился в церковь, цветок все еще был на его груди. И когда священник начал литургию словами «Introibo ad altare Dei»¹, то Габриэль отозвался: «Qui nequiquam laetificavit juventutem meam»². Аббат Фелисьен обернулся, услышав этот странный ответ, и увидел, что лицо мальчика смертельно побледнело, взгляд застыл, члены задеревенели, и прямо на глазах у священника мальчик рухнул на пол в обмороке, так что ризничий вынужден был отнести его домой и поискать для священника другого прислужника.

Но когда аббат Фелисьен пришел навестить его, Габриэль почувствовал странное нежелание рассказывать о синем цветке и первый раз в жизни утаил правду от священника.

После обеда, когда закат уже близился, он почувствовал себя лучше, к тому же пришла Кармель и уговорила его выйти погулять на свежий воздух. И они вышли, держась за руки, — темно-волосый мальчик с газельими глазами и белокурая девочка с

1 И подойду к жертвеннику Божию (лат.)

2 [К Богу], Который напрасно наполнял радостью юность мою (лат.)

вьющимися волосами, — и что-то заставило его направить стопы (полусознательно, ибо он не мог не идти) к ручью, на берегу которого они и сели.

Габриэль решил, что теперь уж он точно сможет поведать Кармель о своей тайне, и, вытащив из-за пазухи цветок, сказал:

— Гляди, Кармель, видала ли ты когда-нибудь такой чудесный цветок?

Но Кармель побледнела и, задрожав, произнесла:

— Габриэль, что это за цветок? Я всего-то дотронулась до него, как сразу почувствовала, что от него исходит что-то странное. Нет, нет, мне не нравится его запах, в нем что-то не то, милый Габриэль, позволь мне выбросить его, — и не успел он ответить, как она выхватила цветок из его рук и отбросила его, и тотчас же красота и аромат покинули его, он почернел, словно обуглился. Но тут на том месте, где упал цветок, на этой стороне ручья, появился волк, он стоял и смотрел на детей.

— Что нам делать? — прошептала Кармель, прижавшись к Габриэлю, но волк только пристально смотрел на них, и тут Габриэль узнал в его глазах странные ярко-синие глаза женщины-волчицы, которую он видел на «той стороне», и произнес:

— Оставайся на месте, милая Кармель, видишь, она лишь с нежностью смотрит на нас и не тронет нас.

— Но ведь это волк, — сказала Кармель, вся дрожа от страха, но Габриэль повторил вяло:

— Она нас не тронет.

Тогда Кармель в ужасе схватила Габриэля за руку и потащила его за собой до самой деревни, где подняла тревогу, пока не собрались все мужчины деревни. Они никогда не видели волков на этой стороне и, взволновавшись до крайности, решили устроить назавтра великую волчью облаву, — один Габриэль тихо сидел в сторонке и молчал.

Той ночью он не мог ни уснуть, ни заставить себя произнести молитву; он лишь сидел в своей комнатухе у окна, рубашка его была расстегнута у горла, и странный цветок лежал на сердце, и опять он слышал голос, поющий под его окном на том же мягком, тягучем языке:

Ма зала лираль ва е
Чуамюло жаела е
Карма уради эль яве
Ярма, симаи, — карме —
Жала явали тра е
Аль вю аль влаюле ва азре
Сафралье вайралье ва я?
Карма серайя
Лайя лайя
Лужа!

И, всмотревшись, он увидел мерцающие в серебристых тенях золотые волосы и странные темно-синие глаза, блестящие в ночи, и ему показалось, что он не в силах удержаться и не следовать за ней; едва одетый, босой, с застывшим взором, он спустился по лестнице, словно во сне, и вышел в ночь.

А она то и дело оборачивалась к нему, и ее странные синие глаза были полны нежности и страсти и печали такой, какая недоступна созданиям человеческим, — и он уже знал, что они придут на берег ручья. Там она, взяв его под руку, обратилась к нему как к старому знакомому:

— Не поможешь мне, Габриэль?

И ему показалось, что он знает ее всю свою жизнь — так что он легко перешел с ней на «ту сторону», но там никого не увидел подле себя; однако уже через миг увидел рядом двух волков. Охваченный неописуемым ужасом, он (кто в жизни не думал об убийстве живого существа) схватил валявшуюся рядом палку и ударил ею одного волка по голове.

Тотчас же женщина-волчица явилась рядом с ним, изо лба ее сочилась кровь, пачкая чудесные золотые волосы, и с бесконечным укором глядя на него, она произнесла:

— Кто же это натворил?

Затем она шепнула пару слов другому волку, который перемаялся ручей и устремился к деревне, и, повернувшись к Габриэлю, произнесла:

— О Габриэль, как мог ты поднять руку на меня, любившую тебя так долго и так крепко.

Ему снова показалось, что он знает ее всю жизнь, но он был словно в дурмане и промолчал в ответ — но тут она сорвала какой-то темно-зеленый, странной формы лист и, прижав его ко лбу, произнесла:

— Габриэль, поцелуй это место, и все станет как прежде.

И он поцеловал ее, как она и просила, и ощутил соленый вкус крови во рту и после уже ничего не помнил.

И вновь перед ним предстал хозяин волков в окружении своей жуткой свиты, заседающий в каком-то странном конклаве, а вокруг на деревьях сидели черные совы, и черные летучие мыши свисали с ветвей. Габриэль стоял в центре круга, и сотни злобных глаз вперились в него. Собрание, видимо, решало, что с ним делать, говоря на том же странном языке, который он уже слышал под окном. Внезапно он почувствовал, как кто-то взял его за руку, — таинственная женщина-волчица стояла рядом. Тогда началось то, что казалось каким-то колдовским ритуалом, — создания человеческие и получеловеческие завывали по-звериному, а звери говорили тем самым неизвестным языком. Потом хозяин волков, чье лицо было вечно скрыто тенью, произнес несколько слов глухим голосом, звучавшим словно издалека, но Габриэль только и разобрал свое имя и ее — Лилит. И тут же почувствовал, как его обвивают руки.

Габриэль проснулся — в своей комнате — так это был сон? — но какой ужасный! Да, но неужели это его комната? Вон там его пальто на спинке стула — да, но... распятие — где распятие, и маленькая купель со святой водой, и освященная пальмовая ветвь, и древний образ Богородицы вечного спасения с неугасимой лампадкой перед ним, к которому он каждый день возлагал цветы, — но только не синий цветок, его он возложить так и не решился.

Каждое утро, еще не оправившись ото сна, он устремлял к этому образу глаза, произносил «Аве Мария» и осенял себя крестным знаменем, приносящим мир душе, — но как страшно, как

непостижимо — его больше нет там, совсем нет. Он, верно, еще не проснулся, по крайней мере, не совсем проснулся, сейчас он совершит крестное знамение и освободится от этого страшного морока — знамение, да, он совершит его — но как надо его свершать? Неужто он забыл? Или рука его парализована? Он не мог шевельнуться. Значит, он забыл — а молитва — он должен ее помнить. «A... vae... nunc... mortis... fructus...» Нет, кажется, не так — но очень похоже — да, это все наяву, и он может двигаться — он попытался убедить себя — вот сейчас он поднимется и увидит за окном старую серую церковь с изящными остроконечными шпилями, озаренными восходом, и тотчас же глубоко и торжественно ударит колокол, и он сбежит вниз и натянет свой красный стихарь, и затеплит высокие свечи на алтаре, и благоговейно дождется, когда нужно облачать доброго, любезного аббата Фелисьена, прикладываясь к каждому одеянию и поднимая его на вытянутых руках.

Но ведь это же не рассвет; это больше похоже на закат! Он выбрался из своей белой кровати, и необъяснимый страх овладел им, он задрожал и вынужден был схватиться за стул, прежде чем достичь окна. Торжественных шпилей серой церкви не было — вместо них расстилались глубины леса; чащи, которые он прежде не видел, — но ведь он обходил его вдоль и поперек, а это, наверное, «та сторона». К страху примешалась вялость и утомление не без приятности — пассивность, примирение, снисхождение, — он почувствовал, как на него накатывает мощная ласковая волна чужой воли, одевая невидимыми руками в неосязаемые одежды; он почти механически оделся и сошел по той же лестнице, по которой обыкновенно с шумом скатывался. Широкие квадратные ступени, лучащиеся разноцветьем, показались ему необыкновенно красивыми — почему прежде он этого не замечал? — но он постепенно терял способность удивляться — вот он вошел в комнату — на столе был обычный кофе и булочки.

— Габриэль, ты припозднился сегодня.

Мягкий голос, но интонация какая-то странная, — перед ним была Лилит, таинственная женщина-волчица, ее сверкающие

золотые волосы были стянуты в тугой пучок, она была одета в платье кукурузного цвета, на коленях ее лежала вышивка со странными змеевидными узорами. Пристально глядя на него своими прекрасными темно-синими глазами, Лилит произнесла:

— Габриэль, ты припозднился сегодня, — и он ответил:

— Вчера я утомился, налей мне кофе.

Сон внутри сна — да, он знал ее всю жизнь, они жили вместе; разве не всю жизнь они жили вместе? Она брала его с собой в прогулки по лесным полянам и собирала ему цветы, такие, каких прежде он не видел, и, не сводя с него удивительных синих глаз, рассказывала истории странным низким грудным голосом, который словно сопровождался слабой вибрацией струн.

Мало-помалу огонь жизненных сил, горевший в нем, стал затухать, гибкие стройные члены делались все более вялыми и пухлыми, — но он все так же был исполнен томного удовольствия, а чужая воля постоянно довлела над ним.

Как-то в своих блужданиях он увидел странный темно-синий цветок, похожий цветом на глаза Лилит, и внезапное воспоминание мелькнуло в нем.

— Что это за цветок? — спросил он, но Лилит съежилась и промолчала; но вот они прошли еще немного, и перед ними возник ручей — ручей, о котором он думал; он почувствовал, как ковы спадают с него, и чуть было не перепрыгнул через ручей, но тут Лилит схватила его за руку и изо всех сил оттащила; вся дрожа, она проговорила:

— Обещай мне, Габриэль, что ты не перейдешь на ту сторону.

Но он произнес:

— Скажи мне, что это за синий цветок и почему ты молчишь о нем?

И она ответила:

— Посмотри на ручей, Габриэль.

И он взглянул и увидел, что хотя это был тот самый разделяющий ручей, он не был похож на себя, — вода в нем оставалась неподвижной.

И чем больше вглядывался Габриэль в неподвижную воду, тем больше казалось ему, что он различает голоса — ему показалось, что это вечерня по усопшим. «*Hei mihi quia incolatus sum*»¹ — и вновь: «*De profundis clamavi ad te*»², — о, эта пелена, все затемняющая! Отчего он не видит и не слышит как следует, и почему воспоминания просачиваются к нему как будто через трехслойную полупрозрачную занавесь? Да, они молятся за него — но кто они? Вновь услышал он страдальческий шепот Лилит:

— Уйдем же отсюда!

Тогда он произнес без выражения:

— Что это за синий цветок и каково его назначение?

И низкий будоражащий голос сказал:

— Он зовется «люли ужюри», — две капли его — и спящий будет *спать*.

Он был точно ребенок в ее руках и страдал, что позволил увести себя оттуда, но, тем не менее, незаметно сорвал один цветок, держа его чашечкой вниз. Что она подразумевала? Проснется ли спящий? Останется ли от синего цветка след? И можно ли стереть его?

Но на рассвете, сквозь сон, он слышал далекие голоса, возносящие молитвы за него, — голоса аббата Фелисьена, Кармель, матери, и некие знакомые слова проникли в него: «*Libera me a porta inferi*»³. Он понял, что там служат мессу за упокой его души. Нет, он не может долее оставаться, он должен перепрыгнуть через ручей, он знает дорогу — но он запомнил, что ручей неподвижен. И к тому же Лилит узнает — что же ему делать? Синий цветок — вот он лежит у изголовья — тут он понял; тихонько он пробрался туда, где спала Лилит, ее золотые, сияющие волосы разметались вокруг нее. Он уронил две капли сока ей на лоб, она вздохнула, и тень сверхъестественного ужаса легла на ее прекрасное лицо. Он бежал — ужас, угрызения совести, надежда разрывали его душу и заставляли бежать все дальше и дальше. Прибежал к ручью — он

1 Горе мне, что я пребываю у Мосоха (лат.)

2 Из глубины взываю к Тебе (лат.)

3 Избави меня от врат преисподней (лат.)

видел текущую воду — это и впрямь разделяющий ручей; перейдя этот предел, он снова окажется среди людей. Он прыгнул и...

Внезапно он осознал какую-то перемену — что с ним? Он не мог произнести ни слова — неужели он передвигается на четырех конечностях? Да, несомненно. Он глянул в ручей, чьи неподвижные воды застыли, словно зеркало, и там, о ужас, увидел себя; но был ли это он? Голова и лицо его; но тело было волчьим. Позади себя он услышал отвратительный насмешливый хохот. Он обернулся — там, позади, в струящемся красном свете, он увидел одного, с человеческим телом — и с волчьей головой и глазами, полными извечной злобы; и тот, в облике зверя, смеялся над ним громко, по-человечески, а он, пытаясь заговорить, издал только долгий волчий вой.

Но перенесемся мыслями от чужих пределов «той стороны» к простой деревушке, где когда-то жил Габриэль. Матушка Ивонна не была особо удивлена, когда он не явился к завтраку — он частенько поступал так, настолько он был рассеян; она только и сказала:

— Видать, ушел со всеми на волчью облаву.

Не то чтобы Габриэлю нравилась охота, просто на его счет матушка Ивонна имела привычку глубокомысленно изрекать:

— Никогда не знаешь, что он надумает.

Мальчишки же говорили:

— Небось эта нюня Габриэль прячется и скрывается где-нибудь, он просто боится выйти на волчью охоту; да он поди и кошки не зашибет, — ибо в их понятии превосходство сводилось к убийству — чем больше игра, тем больше слава. В обычные дни они ограничивались воробьями и кошками, но втайне надеялись, что когда вырастут, станут командовать армиями.

И этих-то детей учили кротким словам Христа — но увы, почти все брошенное семя пало при дороге и не смогло дать ни цветов, ни плодов; как же малые сии могли познать страдания и горький ужас и понять все значение слов, сказанных тем людям, о коих написано: «Иное упало в терние»¹.

¹ Мат. 13, 7.

Волчья охота пока ознаменовалась успехом в том смысле, что охотники один раз увидели волка, и неудачей, ибо волк перемахнул через ручей на «ту сторону», где, конечно же, они побоялись преследовать его. Никакое другое чувство не укоренено в умах обычных людей так, как страх и ненависть к чему-нибудь «чужому».

Дни проходили, а Габриэля нигде не было видно — и матушка Ивонна, наконец, поняла, как сильно любила своего сына, которого другие матери только жалели, — гусыня и лебединое яйцо. Габриэля искали или притворялись, что искали, дойдя даже до того, что прочесали бреднем все пруды, что превратилось в великую забаву для мальчишек, убивших таким образом множество водяных крыс, — а Кармель сидела в уголке и плакала весь день. Матушка Пинкель тоже сидела в уголке и, хмыкая, заявляла, что всегда считала, что Габриэль добром не кончит. Аббат Фелисьен был бледен и встревожен, но говорил мало, — только с Богом и присными Его.

Наконец, когда поиски кончились ничем, все решили, что Габриэля и в самом деле нет — то есть что он умер. (О других местах они знали так мало, что им и в голову не пришло, что он станет жить где-нибудь за пределами деревни). Так что было решено, что в церкви установят пустой катафалк и зажгут вокруг высокие свечи, и матушка Ивонна прочла все молитвы из своего молитвенника, с самого начала до самого конца, независимо от назначения молитвы, включая даже пояснения к разделам. А Кармель сидела в уголке боковой часовенки и все плакала и плакала. Аббат Фелисьен велел мальчишкам петь вечерню по усопшим (это им показалось малым развлечением по сравнению с прочесыванием прудов), а на следующее утро, на рассвете, отслужил панихиду с реквиемом, — *их-то Габриэль и услышал*.

Затем аббату сообщили, что один больной нуждается в последнем причастии. Так что он снарядил торжественное шествие с зажженными факелами, чей путь лежал по берегу разделяющего ручья.

Пытаясь заговорить, он издал лишь протяжный волчий вой — самый жуткий из всех звуков, исторгаемых животными. Он выл

и выл — может, Лилит услышит его? Может, спасет? И тут он вспомнил о синем цветке — начале и конце его напастей. Его вопль пробудил всех обитателей леса — волков, людей-волков и волков-людей. В ужасе несясь он впереди них — а позади, верхом на черном баране с человеческим лицом, скакал хозяин волков, чье лицо было вечно скрыто тенью. Лишь однажды он обернулся — ибо среди визга и завываний дьявольской охоты расслышал один голос, мучительно стонущий. И там, среди них, он увидел Лилит, с волчьим телом, почти скрытом покровом ее золотых волос, а на челе ее был синий след цвета ее таинственных глаз, полных слез, которые она была не в силах сдерживать.

Путь святого причастия лежал вдоль ручья. Вдалеке слышались страшные завывания, и факельщики, побледнев, задрожали, — но аббат Фелисьен, держа перед собой причастие, твердо сказал:

— Они не смогут повредить нам.

Внезапно показалась дикая охота. Габриэль перепрыгнул через ручей, аббат Фелисьен осенил его причастием, и сразу человеческий облик вернулся к нему, павшему ниц в преклонении. Но аббат Фелисьен все держал воздетой дароносицу, и вокруг люди встали на колени в страхе, однако лицо священника, казалось, распространяет божественное сияние. Но тут хозяин волков поднял в своих руках нечто по форме устрашающее и невообразимое — дароносицу с адским причастием, и трижды поднимал он ее, насмехаясь над святым обрядом благословения. И на третий раз языки пламени брызнули из его пальцев, и вся «та сторона» леса занялась пламенем, и все покрыла великая тьма.

Все, кто были там, сохранили память об этом на всю жизнь, — даже на смертном одре воспоминание не стерлось. Вопли, ужасающие до невообразимости, разносились всю ночь — а потом хлынул дождь.

Ныне «та сторона» безопасна — одни обугленные пни; но до сих пор никто не решается перейти ручей, кроме Габриэля — ибо каждый год на девять дней странное безумие настигает его.

МИФ О ПАНЧЕ

На свете существует четыре великих сюжета: Фауст, Тангейзер, Дон Жуан и Панч.

Каждый из них может рассматриваться в зависимости от своей индивидуальности. В первом выразилось стремление человеческой души к счастью, недостижимому на этой земле; во втором — извечная война плоти и духа; в последних же двух — триумф абсолютного зла. Казалось бы, с этой точки зрения последние два сюжета тождественны друг другу. Однако это не так; они существенно различаются. Замысел первого Дона Жуана принадлежит испанскому монаху¹, и получившийся персонаж ужасающ и трагичен. Еще более мрачным выходит он у Граббе², в его чрезвычайно яркой драме, так мало известной; потом у Мериме³ и, особенно, у Бальзака⁴ он предстает интеллектuaлом, хотя нам он знаком, скорее, в образе легкомысленного распутника, которого сопровождает забавный слуга, — образ, приниженный Мольером⁵ и позднее — знаменитой оперой⁶. В сущности же, персонаж этот совсем не комичен и склонен к одному лишь роду порока.

Образ Панча гораздо более устрашающ, ибо призван забавлять — и забавлять детей.

Каково происхождение этой странной драмы? Ее находят повсюду: по всей Европе и дальше на восток. Главный персонаж

1 Тирсо де Молина (1571-1648), «Севильский обольститель» (1630).

2 Кристиан Дитрих Граббе (1801-1836), «Дон Жуан и Фауст; трагедия в четырех актах» (1829).

3 Проспер Мериме (1803-1870), новелла «Души Чистилища» (1834), вошедшая в сборник «Коломба» (1841).

4 Оноре де Бальзак (1799-1850), новелла «Эликсир жизни» (1830), позднее вошедшая в цикл «Человеческая комедия» (1842). В сборнике «Новеллы Бальзака» (Уолтер Скотт, Лондон, 1890), куда вошли переводы Стенбока и его друга Мора Эйди (под псевдонимом Вильям Вильсон), новелла носит заглавие «Дон Жуан, или Эликсир жизни».

5 Жан Батист Мольер (1622-1673), «Дон Жуан, или Каменный гость» (1683).

6 Речь идет об опере Моцарта, либретто Лоренцо да Понте, «Наказанный распутник, или Дон Жуан» (1787).

появляется под разными именами: Петрушка, Каспар, Карагёз, Панч. Поэтому бессмысленно утверждать, что имя «Панч» является производным от имени Пульчинеллы, персонажа старой итальянской пантомимы, окруженного Арлекином, Коломбиной, Бригеллой и прочими. Наш английский Панч принял образ итальянского Пульчинеллы по чистой случайности. Русский Панч, например, чей сюжет повторяет в общих чертах наш, не имеет горба или длинного носа или таких черт, которые присущи нашему Панчу; нет их у Карагёза или Каспара; нет их, пожалуй, и у итальянского Панча, но все они говорят одним и тем же скрипучим голосом, напоминающим о крайнем издевательстве.

Генрих Гейне свидетельствует, что впервые драма о Фаусте ставилась в театре Панча. В самом деле, все четыре сюжета объединены одним элементом — триумфом сатаны. Любопытно, что именно в Англии эта драма до сих пор сохранила свою цельность. Поэтому мы будем рассматривать именно английского Панча. Итальянский Панч довольно дружелюбен и невинен. Большую часть времени он болтает с музыкантом и даже не помышляет об убийстве жены. Русский Панч также много общается с музыкантом и приветливо встречает персонажей, пришедших его навеситить, заключая их в объятия, хотя потом всех их убивает. И когда, переодетый в овечью шкуру, появляется черт, чтобы утащить его, приветливый Петрушка начинает гладить его, и тут черт сбрасывает с себя шкуру и предстает в своем истинном обличье. Восточный Панч довольно непристоек, более связан с образом Дона Жуана, но и он под конец сталкивается с Иблисом. Однако особенно трудно приходится с дьяволом немецкому или, вернее, баварскому Панчу, и он даже обращается к детям с вопросом, что ему с тем делать. Они предлагают ему разное, например, накрыть сатану кастрюлей или шарахнуть сковородкой и так далее. Наконец, бедному Каспару¹ приходит в голову блестящая идея: он побьет дьявола его же оружием. Он берет трезубые вилы и пронзает дьявола. Сначала кажется, что он победил; дьявол исчезает.

1 Каспаром зовут забавного слугу в старой книге о Фаусте (прим. автора)

Но нет! скоро он вновь появляется, но уже утроенный — три дьявола вместо одного. Не слишком ли богохульно будет подумать, что это намек на одну притчу из Писания? Заложен ли в этом определенный серьезный смысл? Думаю, да. Но давайте проанализируем английского Панча, с которым мы знакомы сизмальства.

Ныне Панча показывают редко, а когда показывают, то в худшем варианте. В драму включены все и всяческие глупые, поверхностные эпизоды: аллигатору с сосисками или Тоби, персонажу, драме абсолютно чуждому и приходящемуся к месту в одной-единственной сцене, там, где Панч вступает в спор с одним из многих людей, которых потом убивает, о том, кому принадлежит собака (эпизод этот совершенно излишен), сейчас отводятся главные роли, в том числе самой собаке. Часто драма даже не имеет концовки. Опишем же старые постановки Панча.

Помню — и это одно из самых первых моих воспоминаний — старого, всего в заплатах, Панча, который начинал представление со странной сцены: его отец, чем-то напоминавший самого Панча, заключал некий договор с Дьяволом и отдавал в руки того тщательно изготовленного Панча-дитятю. Помню, тогда это произвело на меня, маленького ребенка, ужасающее впечатление. Возможно, эта сцена — ключ ко всей драме Панча, развившейся, как и Дон Жуан, в угрюмом воображении какого-нибудь монаха. Но это всего лишь один пример, и я, быть может, преувеличиваю. Рассмотрим же, как Панча ставят сейчас, и проследуем его историю.

При первом своем появлении он очень дружелюбен; приветствует зрителей, зовет жену, к которой проявляет самые нежные чувства, и ребенка, показывая себя прекрасным мужем и семьянином. Декорации напоминают альпийский пейзаж. Почему? Невозможно сказать. Даже самое скрупулезное исследование не сможет установить, в какой стране появился и расцвел театр Панча. Законы этой страны, правда, весьма своеобразны. Но это не имеет никакого значения; Панч — не местный, а универсальный персонаж. Иной раз мы в какой-то мере склонны отдать ему свои симпатии, как, например, в следующем эпизоде. К своему

ребенку он относится со всей добротой и любовью. Ребенок же нарочно вопит так, что ни один человек не выдержит. И Панч выкидывает его в окошко. Жена Панча, Джуди, — мне так и не удалось установить, почему ее зовут Джуди и каково происхождение этого имени, но в русском Панче ее именуют Юшей¹; возможно, она каким-то образом связана со старым кукольным действием о Юдифи и Олоферне², — спрашивает его, естественно, что случилось с ребенком. Он отвечает с восхитительной откровенностью: «Я вышвырнул его в окно». Тогда она ныряет вниз, появляется с палкой и начинает дубасить Панча. Однако Панч не таков, чтобы спускать жене побои, поэтому он вырывает у нее палку и отплачивает ей тою же монетой, что приводит к самому катастрофическому результату. Умышленно ли это убийство или нет, я так и не смог понять. Но именно с этого момента начинается вакханалия преступлений Панча. К нему является педель, символизирующий в стране Панча закон и власть, чтобы избить его за несоответствующее поведение. Опять же, поневоле симпатизируешь Панчу, ибо кто выдержит брань педеля? К тому же, убив раз, Панч не видит причин, почему не убить в другой. Так что педель получает палкой по голове, и это — предумышленное убийство номер один. После этого к Панчу является несколько людей с разными поручениями, и со всеми он поступает так же. Удастся спастись лишь одному — клоуну Джоуи. Аллегорический смысл здесь налицо — только смех может ускользнуть от абсолютного зла. После этого наши симпатии опять на стороне Панча, ибо на этот раз к нему является человек, представленный «чужеземцем». Люди непременно должны говорить по-английски, а если не могут, то должны научиться. Ведь нелепо говорить просто «шаллабалла!»³. Затем происходит отвратительная оргия с трупами, в

1 На самом деле — Маланьей или Пигасьей.

2 В «Истории Тома Джонса, найденныша» Г. Филдинга упоминается «Панч с женой его Джоан», так что это, возможно, простое совпадение (прим. автора)

3 Видимо, искаженное арабское «Иншалла!», «если Богу будет угодно». «В драме Панча всегда фигурировал в качестве персонажа чернокожий... Иногда он был иностранцем, частенько с висячей бородой, который мог выговорить только одно слово — «шаллабалла» (Джордж Спехт, «Панч и Джуди: История», Студио Виста, Лондон, 1970).

которой участвуют Панч и клоун. Клоун засовывает их вечно не туда, пока Панч с гордостью ведет подсчет.

Затем наступает центральная часть драмы; он на миг испытывает угрызения совести. Вне себя от удовольствия, что убил так много людей, он сидит, свесив ноги через парапет, и напевает песенку. Позади тихо появляется белый призрак. Панч оглядывается; в нем еще сохранились остатки совести. При взгляде на привидение он падает в обморок. Очнувшись и будучи без сомнения знаком с современными теориями, он приписывает появление призрака своему состоянию и хочет проконсультироваться с врачом.

С врачами частенько трудно договориться насчет их гонора-ра, но когда Панч предлагает врачу грош да еще требует сдачи, а врач на это справедливо негодует, — в общем, довольно невежливо убивать еще и врача. Никому не позволено безнаказанно убивать врачей; закон, судья, присяжные и палач — все в одном лице — приходят, чтобы, наконец, привлечь Панча к правосудию (Как, однако, все легко устроено в стране Панча!) И Панча бросают в темницу, где он делается очень печальный и поет *Miserere* из «Трубадура». Потом приходит представитель правосудия и притаскивает с собой виселицу. Беднягу Панча хотят вздернуть. И тут Панч применяет подлый прием, весьма недостойный его сатанинского нутра. Он говорит палачу, что его никогда прежде не вешали и что, хотя он лично совершенно не против виселицы, он не знает, с какой стороны продевать в петлю голову, и просит палача показать ему, что тот и проделывает. И тогда Панч затягивает петлю, и вот палач, единственный представитель законного возмездия, повешен сам! То, как ведут себя Панч и клоун, втискивая тело в слишком тесный гроб, попросту неприлично. Панч утерял свои манеры, а с ними — и мораль.

Палач повешен, закон и власть попораны, все ограничения отменены, и Панч затягивает победную песнь. Но, как и в прошлый раз, является еще более жуткий призрак. Сам заклятый Враг. И тогда Панч с потрясающей ловкостьюогревает Сатану своей палкой; после чего эта отвратительная пародия на Спасителя заключает Смерть и Ад в Плен. И смеется в лицо Богу и человеку; но все-таки последним смеется Сатана.

Многие пытались уничтожить Сатану, от Панча до профессора Гексли. Едва ли они в этом преуспели.

Я нарочно повествую обо всем в легком ключе, чтобы подчеркнуть неопишемый ужас, который внушает этот сюжет. Отчего же он забавляет нас?

Это отвратительное, уродливое создание убивает нескольких человек ударом палки по голове. Забавно ли видеть, как люди умирают от удара палки по голове? И если да — почему? Жуткая трагедия Панча состоит в том, что он непреодолимо комичен. И почему же он комичен? Что вообще значит комическое? Думаю, объяснением может послужить вот что.

Будучи изгнаны из рая, куда нам уже не вернуться, мы смягчаем ужас и безобразие жизни нашей способностью смеяться. В минуты, когда темно и тихо, *timor nocturnus*, страх ночи, как он назван в Псалтири, который при свете дня казался нам попросту нелепым, превращается в удушливый кошмар. Мы не смогли бы жить, если бы живо воспринимали уродство мира. Поэтому, как слезами изливается наше разочарование в том, чего мы не достигли, и никогда не достигнем в этом мире, того, что наверху, так смех приносит нам утешение от страха того, что внизу. Природе, чистой и благодатной, незнаком смех; как сказано где-то о Христе, «многие видели Его плачущим, но никто — смеющимся».

Чем развращенней становится эпоха, тем острее ее чувство юмора. Я использую слово «юмор» за неимением более подходящего слова. Юмор подобен трупным мухам, рождающимся от гниения и питающимся разложением.

Тем не менее, стоит быть благодарными за то, что у нас есть это чувство, которое превращает уродливое в гротескное, а жестокое — в смешное.

Может показаться, что я рассматриваю кукольный театр чересчур серьезно. Отнюдь. Драма Панча прекрасно иллюстрирует мысль, которую я хочу передать. Действительно, сущность ее еще страшнее первых трех сюжетов, упомянутых мной в самом начале, благодаря своей теме, служащей развлечением для детей; и тема эта — триумф абсолютного зла!

*М*АЗУРКА МЕРТВЕЦОВ *Трагибуффонада в шести частях*

Dramatis personae¹:

В прологе:

Князь Фердинанд фон Молденберг; графиня Штерн; Люсиль, ее дочь; мадам Изольда де ла Вальер; Антуан, паж.

В драме:

Карл Флотт и Максимус-Фидель, немецкие студенты; граф и графиня Аксельманштейн; Ирэн и Шарлотта, их дочери; а также три молодых человека.

Между Прологом и Сценой первой должно пройти сто лет.

ПРОЛОГ

Описание сцены: Роскошный салон, обставленный в стиле рококо восемнадцатого века. КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД ФОН МОЛДЕНБЕРГ играет на клавикордах. Он моложав, женственен, с тонкими чертами лица, его длинные белые руки унизаны перстнями. Он одет по моде своего времени, однако чересчур пышно, утопает в изобилии белоснежных кружевных оборок. На нем длинный пудренный парик, он нарумянен, глаза его подведены.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (*играет очень печальную мазурку, говорит под музыку*): Что ж, полагаю, идея не то чтобы очень оригинальна. Она уже приходила в голову Сарданапалу и тому же Нерону. Но как мы можем быть оригинальны сейчас: в нынешний век, когда все идеи затасканы, мы носим парики вместо волос, а на щеки наносим румяна. Все — сплошная подделка. Наши чувства, наша поэзия, живопись, музыка, — все. А то, что я сейчас играю, — тоже подделка? Не думаю: хотя было бы подходяще иметь

¹ Действующие лица (лат.)

притворную песню смерти. Определенно мне нравится эта мазурка. Я сыграю ее им; наверняка она вызовет у них восхищение. О! Подумать только — последний вопль встречают притворным восхищением! Им, однако, суждена та же дорога. Замысел, конечно, жесток. Однако я пощадил Антуана, у которого будет на что провести остаток жизни: которого я по-настоящему люблю и временами склонен думать, что он любит меня. Забавно будет наблюдать, как изящные ноги мадам де ла Вальер охватит огонь из преисподней, а *(со смехом)* графиня Штерн будет даже чересчур забавна. *(Задумчиво)*. К счастью, ныне в такие вещи мы уже не верим: мы просто задохнемся, примем легкую смерть, задолго до того, как пламя коснется нас. Вот так в своем бедном маленьком княжестве я смогу реализовать то, что Сарданапал в его великой империи сделал задолго до меня. Сейчас уже поздно отступать. *(Снова играет мазурку, медленно и мучительно; затем зовет)*: Антуан!

(Входит АНТУАН)

Итак, командор, ты знаешь, что нужно делать. Однако я еще раз повторю инструкции. Когда ты услышишь, как я играю эту мазурку *(играет)*, ты возьмешь факел и подожжешь дом. Перед этим под каким-нибудь предлогом выведи вон слуг. Скажи им, к примеру, что я хочу побыть один или что даю им выходной: *(вручает деньги)* это им на развлечения. Что касается тебя самого, то я отдаю тебе *(передает деньги)* все деньги, что у меня есть. Разумеется, ты должен будешь сразу покинуть страну. Но думаю, что этого тебе хватит на всю жизнь.

АНТУАН: Ах, монсиньор! Почему вы просите меня совершить такую ужасную вещь! Ведь вы знаете, я предан вам и сделаю все, что бы вы ни приказали. Умоляю вас в последний раз — не возлагайте на меня этой обязанности.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Ну-ну, дитя, ведь ты ничего не теряешь от этой маленькой операции: напротив, даже приобретаешь. Как я уже говорил, ты обеспечен на всю жизнь.

АНТУАН (*разрывая банкноты и бросая золото на пол*). Неужели вы думаете, что мне нужны деньги? Это вы думаете? Я вам не мадам де ла Вальер.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (*раздельно*): Что ж, дорогой, произвести хорошее впечатление под конец, конечно, неплохо: (*приковывая его взглядом*) однако ты сделаешь, как я сказал.

(*Молчание. АНТУАН стоит не шевелясь, глядя на КНЯЗЯ*).

АНТУАН (*выговаривает тихим голосом*): Да... я сделаю, как вы сказали.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Антуан, подойди! Попрошайся хотя бы: почему ты смотришь так страшно? (*Торопливо — рядом слышны голоса*). Бери все, все, что я имею, но попросайся со мной! (*Голоса раздаются ближе: КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД страстно целует его — и затем холодно*): Иди и проводи дам сюда.

(*Входят ГРАФИНЯ ШТЕРН и ЛЮСИЛЬ*)

ГРАФИНЯ ШТЕРН (*входя, в сторону*): Думаю, на этот раз я точно обошла мадам де ла Вальер. Она считает себя привлекательной; но не такой, как моя дочь, и князя наверняка потянет на новенькое — он ведь никогда ее не видел. Так что, как ни крути, это то же самое. Что Люсиль, что я, — не играет роли. В любом случае, я снова одержу верх.

(*АНТУАН выходит, бросив долгий взгляд на КНЯЗЯ, который не смотрит на него*).

Кажется, князь, вы еще не знакомы с моей дочерью; надеюсь, с моей стороны не будет чересчур смело представить ее вам?

ЛЮСИЛЬ (*краснея*): Мама сказала, что я могла бы, и я подумала, что... (*смешивается*).

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Напротив, мадемуазель, я счастлив нашему знакомству. Вы выглядите почти так же молодо, как ваша мать, — и почти так же красивы.

ГРАФИНЯ ШТЕРН: Право, князь, вы чересчур саркастичны!

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (*страдальчески восклицает*): Я никогда не позволяю себе быть саркастичным! (*В сторону*). Бедное дитя, неужто и ей суждено стать жертвой всесожжения?

(*Входит АНТУАН*).

АНТУАН (*резко*): Мадам Изольда де ла Вальер.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Моя дорогая Изольда, как к лицу вам это белое бархатное платье! С этим золотым поясом и восхитительным бирюзовым ожерельем на шее.

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Я так рада, что вам понравилось мое платье, сир: и я думаю, что мне удалось раздобыть для этой бирюзы, вашего подарка, очень милую оправу.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (*задумчиво*): Так это я подарил вам это ожерелье? Не помню.

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР (*патетически дрожащим голосом*): Не помните? О нет!

ГРАФИНЯ ШТЕРН: Что до меня, я равнодушна к бирюзе. Твердый, холодный камень.

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР (*глядя на нее с загадочной улыбкой*): И, тем не менее, она символизирует настоящую любовь.

ГРАФИНЯ ШТЕРН: Да, это мне известно: и еще то, что в случае измены она зеленеет. Вот и ваша, как я замечаю, с прозеленью.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Моя дорогая Иоланда, моя дорогая Изольда, не нужно, не нужно ссориться. Я хочу сыграть вам мазурку, которую сочинил только что.

ГРАФИНЯ ШТЕРН: Еще одну печальную мазурку? Как очаровательно!

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Мне они кажутся такими грустными. Почему бы вам не написать что-нибудь жизнерадостное, князь?

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Мы живем в конце времен. Как же радоваться нам при виде того, что у нас не осталось ничего, кроме опавших листьев Осени, из коих мы плетем венки и украшаем ими свои дома. Цветы Весны в прошлом, увядшие и осыпавшиеся. Нам уже не увидеть Весны!

ЛЮСИЛЬ (*внезапно*). Я увижу Весну.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (*задумчиво*): Не думаю.

ГРАФИНЯ ШТЕРН: Право, князь, вы невыносимо поэтичны сегодня: перейдем же от поэзии к музыке и послушаем вашу мазурку.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Ах да! Я чуть было не забыл о мазурке. Вы знаете, как очаровательно ее танцуют втроем. Если вы станцуете под музыку, я смогу представить себе весь эффект. (*ГРАФИНЕ ШТЕРН*). Полагаю, ваша дочь танцует, графиня?

ГРАФИНЯ ШТЕРН: О да! Она прекрасно танцует. Но почему вы не зовете меня Иоланда?

ЛЮСИЛЬ (*краснея, но с воодушевлением*): О, я обожаю танцевать! Я могла бы танцевать вечность!

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (*сидя за клавикорды, вполголоса*): Кажется, этим ты и займешься.

(Играет мазурку: дамы танцуют: внезапно в окнах показываются языки пламени).

КОНЕЦ ПРОЛОГА

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Местность в южной Германии. Въезжает двуколка с КАРЛОМ ФЛОТТОМ и МАКСОМ-ФИДЕЛЕМ. На них парадные платья и легкие пальто. Вечереет, на дворе октябрь.

КАРЛ: Вот так переплет! И куда, скажи пожалуйста, подевалась дорога? Стоим на перекрестке и не знаем, свернуть направо или налево. Вокруг — ни одного жилища. Это, право, довольно смешно — мы знаем этих людей еще по Браусбергу и теперь, желая остановиться у них и побывать на танцевальном вечере, мы не можем отыскать их дом.

МАКС: Я доверяю инстинкту животных. Давай отпустим поводья, пусть лошадь сама выбирает дорогу.

КАРЛ: Хорошо! Не возражаю. Лошадь должна свернуть сама. Неясно ведь, какая дорога правильна. Ого! Гляди: она сворачивает влево. А вон и дом: весьма вероятно, что именно тот, который нам нужен. Так или иначе, давай попробуем.

МАКС: Что ж, вреда не будет. Сомневаюсь, чтобы это был тот самый дом, сам не знаю, почему. Но мне было бы ужасно жаль пропустить танцы... ты же знаешь... да нет, куда тебе... в общем...

КАРЛ: Тебя привлекает Ирэн. Люди не так уж слепы, как ты предполагаешь. Позволь же мне сказать то, чего ты, кажется, еще не знаешь — или скорее знаешь, ибо люди все видят, когда дело не касается их самих, — я испытываю подобные же чувства к Шарлотте, которая много краше известной тебе особы.

МАКС: Право, излишне проводить индивидуальные сравнения. Хорошо и то, что мы не влюблены в одну и ту же. Видишь, лошадь свернула налево. Хорошо бы и нам попытать счастья.

(Сворачивают влево).

СЦЕНА ВТОРАЯ

Та же обстановка, что и в Прологе. КНЯЗЬ, ГРАФИНЯ ШТЕРН, МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР и ЛЮСИЛЬ: а также три молодых человека; первый — во фраке сливового цвета и вышитом жилете. Второй в черном, несколько старомодном вечернем костюме. Третий одет по современной моде.

(Входит АНТУАН)

АНТУАН *(объявляет)*: Герр Карл Флотт и герр Максимус-Фидель.

КАРЛ: Бог ты мой! А я и не знал, что у них тут маскарад. Смотри, есть даже паж в стиле восемнадцатого столетия, чтобы проводить нас внутрь. Что это все могло бы значить?

МАКС: Да! И кто все эти люди? Я никогда их не видел, и где Ирэн и Шарлотта, не говоря уже о хозяине и хозяйке?

КАРЛ: Полагаю, все в порядке. Они, наверное, в другой комнате. Но все-таки жаль, что мы не знали, что идем на маскарад — мы нарядились бы тогда соответствующе; хотя было бы нелепо ехать в двуколке наряженными в маскарадное платье. И потом, вон тот малый одет как разумное человеческое существо. Кстати, я заметил там чертовски красивую девицу!

МАКС: Ну, из того, что ты только что говорил о Шарлотте, я делаю вывод, что тебе не стоит особенно этой девицей восхищаться;

если уж речь зашла о красоте, — белокурая женщина в белом бархатном платье выглядит гораздо интереснее девушки, на которую ты указываешь.

АНТУАН (*подходя к КНЯЗЮ*). Монсиньор, не пощадите ли вы хотя бы этих? Ведь у нас уже есть достаточно для нужного числа.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (*саркастично и желчно*): Так ты, стало быть, проявляешь к ним интерес?

АНТУАН: Монсиньор, я лишь молю вас пощадить их. Учитывая то, что я пожертвовал собой, чтобы остаться с вами навеки, ваша ревность выглядит чуточку посмертной. Нас ведь не совсем можно назвать живыми.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД (*печально и желчно*): Мертвые могут любить живых; хоть живые и равнодушны к мертвым.

ПЕРВЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*подходя к КАРЛУ и МАКСУ*): Вы успели как раз к котильон-мазурке! Пойдемте, я представлю вас дамам.

КАРЛ: Отлично, с удовольствием!

МАКС (*КАРЛУ*): Не знаю, отлично ли это! Во всем этом есть что-то странное.

ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*подходя к КАРЛУ и МАКСУ, шепотом*): Не танцуйте, что бы вы ни делали! (*уходит*).

КАРЛ: Что за вздор! Что все это означает? Они что, нас разыгрывают?

ВТОРОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Мой друг сказал мне, что вы собираетесь танцевать с нами котильон-мазурку. Вы знаете, эту мазурку сочинил сам князь.

МАКС (*в сторону КАРЛУ*): Какой князь? Не понимаю. Это точно розыгрыш.

ВТОРОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Возможно, вам незнакомы правила котильона. Поэтому я лучше ознакомлю вас с ними. Дама садится в середине, у нее с собой кольцо, цветок и корзина. Тот, кого она одаривает кольцом, становится ее партнером. Тот, кому она дает цветок, может выбирать себе партнера сам. Тот же, кому отходит корзина, получает отказ и должен ждать следующего круга.

КАРЛ: Ага, понятно. Я уже пробовал такое.

МАКС (КАРЛУ): И все-таки это странно, ты не находишь? Где же они?

(МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР садится посреди комнаты)

ВТОРОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*подходит близко к МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР и шепчет ей*): Видите, сегодня среди нас новые друзья.

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Как очаровательно! По крайней мере, будет что-то новенькое! А то вы меня уже достаточно утомили.

ПЕРВЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*стоя рядом*): Мадам, вы слишком жестоки!

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Таково наше занятие. Так что идите и приведите мне моего партнера.

ПЕРВЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*направляясь к КАРЛУ и МАКСУ*): Господа, могу ли я просить вас пожаловать за мной? Полагаю, мой друг уже ознакомил вас с правилами котильона. Поэтому, если позволите, я представлю вас очаровательной мадам Изольде де ла Вальер.

(*Они подходят к ней: МАКСУ она вручает кольцо, а КАРЛУ — цветок; ПЕРВЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК получает корзину*).

ПЕРВЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Право, мадам, я вынужден повторить — вы чересчур жестоки.

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР (*КАРЛУ*): Итак, вы можете выбирать любую партнершу, вручив ей этот цветок. Я бы рекомендовала вон ту девушку. Она определенно хороша собой и великолепно танцует.

КАРЛ: О да! Я заметил ее с самого начала! Она не нуждается в рекомендациях. (*Направляется к ЛЮСИЛЬ*).

(*В сторону*). Но что, черт побери, мне ей сказать? Я совершенно не знаю ее! Хотел бы я, чтобы людей представляли друг другу подобающим образом. Вот не знал, что Аксельманштейны такая эксцентричная публика. Начну-ка с чего-нибудь банального. К примеру (*громко ЛЮСИЛЬ*), вы любите танцевать?

ЛЮСИЛЬ: О, я обожаю танцевать! Вся моя жизнь заключалась в этом и, собственно, еще заключается.

КАРЛ (*в сторону*): Весьма странная особа! Не сумасшедшая ли? Кажется, так оно и есть. В любом случае, она чертовски красива. Одна надежда на то, что внезапно не явится Шарлотта. В остальном почему бы не поддержать ее маленькие причуды. (*Громко ЛЮСИЛЬ*). Если ваша жизнь заключается в этом, то я хочу разделить с вами свою.

ЛЮСИЛЬ (*принимая его руку и засовывая цветок за вырез платья*): Ах, жизнь! жизнь! жизнь! Это все, о чем я прошу.

ВТОРОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*проходя мимо, угрюмо*): Кто любит жизнь, тот ее теряет.

КАРЛ (*в сторону*): Ну и чудачки тут собрались!

ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*подходя близко к КАРЛУ, шепотом*): Что бы вы ни делали, не танцуйте. Я уже предупреждал вас. (*КАРЛ вздрагивает, отпускает руку ЛЮСИЛЬ*).

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР (*МАКСУ*): С того мгновенья, как вы вошли в комнату, я почувствовала к вам особенную симпатию.

МАКС: Вы делаете мне честь, мадам. Могу ли отважиться сказать, что симпатия была обоюдной? (*В сторону*). Боже мой. Что подумает Ирэн? Хорошо же, что ее здесь нет.

ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*подходя вплотную к МАКСУ*): Внемлите предупреждению! Не танцуйте (*Проходит*).

МАКС (*в сторону*): Что это все означает? Он уже говорил это. Они что, все сумасшедшие? Но где же Карл?

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Теперь мы должны встать в позицию. Но вы же знаете, как танцевать польскую мазурку? (*КНЯЗЬ играет*).

ГРАФИНЯ ШТЕРН (*громко смеется, ПЕРВОМУ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ*): Ха! Ха! Мы сегодня славно повеселимся!

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Смотрите, князь уже играет.

МАКС: Князь? А где же граф Аксельманштейн?

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Граф Аксельманштейн? Это имя мне незнакомо. Ах да! Пожалуй, я вспоминаю человека с таким именем. Но это было довольно давно. Почему вы думаете, что он здесь?

КАРЛ (*ЛЮСИЛЬ*): Разрешите отойти на минуточку, gnädige fraulein¹? Я лишь хочу перекинуться словом с моим другом, прежде чем начнется котильон.

ЛЮСИЛЬ: Но вы ведь вернетесь, правда?

КАРЛ (*подходит к МАКСУ, sotto voce*²): Это какое-то очень странное место, даже не могу понять, в чем дело. Ты не мог бы оставить свою партнершу и подойти ко мне?

МАКС (*МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР*): Не разрешите ли, мадам, отлучиться на секундочку. Мой друг имеет что-то мне сказать.

¹ (правильнее – gnädiges Fräulein) – сударыня (нем.)

² вполголоса (итал.)

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Да, я разрешу вам; но не думаю, что сейчас время для секретов.

МАКС (*КАРЛУ, торопливо*): Послушай, мы попали не в тот дом, это точно.

КАРЛ: Что ж, единственное, что мы можем сделать, это уладить все с хозяином и принести извинения.

МАКС: Да, это единственное, что мы можем сделать. Мы определенно попали впросак, особенно если учесть, что хозяин — княжеского достоинства. Это, однако, не наша вина. Мы должны выбираться отсюда побыстрее. Надеюсь, он сильно не обидится; тем более, что он имеет на это полное право. Вон он, у фортепиано.

АНТУАН (*КНЯЗЮ*): Отпустите же их... У нас и так уже собралась достаточно большая компания.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Но как я могу? Разве не видишь ты, дитя, что это не умысел, это рок.

МАКС (*подходя к КНЯЗЮ*): Тысяча извинений, *durchlaucht*!! Но получается, что по нашей же глупой оплошности мы попали в другой дом. Если я объясню вам обстоятельства, вы, возможно, извините нас. Мы были приглашены на бал в дом графа Аксельманштейна, где мы и собирались остановиться. Заплутав в горах и не быв в доме прежде, и завидев этот освещенный дом, мы заключили, что это и есть дом, который мы разыскиваем. И поскольку было крайне маловероятно, что два дома в этой пустынной местности будут давать бал одновременно, мы пришли к вам, думая, что сюда нас и приглашали. Мы только сейчас поняли нашу ошибку. Еще раз приношу вашей светлости тысячу извинений.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: В этом нет нужды. Если вы пришли в мой дом по ошибке, я только рад приветствовать вас здесь. К

1 Ваша светлость (нем.)

нам редко заезжают гости; и сейчас довольно поздно уходить, ибо до графа Аксельманштейна далеко добираться. Я с превеликим удовольствием предлагаю вам свое небольшое гостеприимство.

ГРАФИНЯ ШТЕРН (*ПЕРВОМУ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ*): Положительно, сегодня князь en veine¹. Эта фраза о гостеприимстве положительно комична.

ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*проходя*): Гостеприимства здесь действительно немного, и я бы не рекомендовал пользоваться тем, что есть.

ВТОРОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*вставая рядом*): Вот надо-еда! Вечно ты оплакиваешь нашу судьбу; а поскольку мы не можем ее изменить, то мы должно смириться с тем, что есть. В любом случае, присутствие новых спутников нас отвлечет.

ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (*грустно и задумчиво*): Когда-то я надеялся попасть на Небеса, прежде чем меня научили ни во что не верить. Это была наша вина. То, что мы здесь, верно и справедливо. Но, пребывая в преисподней, почему мы должны тащить за собой в бездну и других?

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР (*подошедшая к ним, ударяет ТРЕТЬЕГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА веером*): Право, Леонгард, вы изрекаете бессмыслицу. Я начинаю думать, что вы ревнуете.

ЛЮСИЛЬ (*подходя к ним*): Что здесь за шум? И почему мы не танцуем?

ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Много шума из ничего! Танцы должны начаться прямо сейчас.

АНТУАН (*КНЯЗЮ*): И снова говорю — пощадите их!

КНЯЗЬ (*поворачиваясь к нему*): Хорошо, дорогой, ради тебя.

¹ в ударе (фр.)

КАРЛ (МАКСУ): Ну что, думаю, не пора ли нам идти? Или стоит принять приглашение князя? Становится уже поздно: мы можем с тем же успехом переночевать и уйти утром, объяснив все Аксельманштейнам завтра. История получится весьма забавной.

МАКС (КАРЛУ): Нет! Мы должны убираться отсюда во что бы то ни стало. Здесь есть что-то ужасное и необъяснимое. Неужели у тебя нет подобного чувства?

КАРЛ: Ну, да, есть, наверное, ты прав. Давай же уйдем.

МАКС (КНЯЗЮ): Durchlaucht, предложенное вами гостеприимство льстит нам. Однако боюсь, что мы не можем его принять. Видите ли, нас ожидают в доме Аксельманштейнов; и если мы не прибудем, они решат, что с нами что-нибудь случилось. И когда вы были столь любезны простить наше непростительную нескромность, возможно, вы не откажете в любезности указать, какую дорогу нам следует выбрать, чтобы попасть в разыскиваемый нами дом.

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Мне очень жаль; но так как это для вас вопрос необходимости, мой слуга отправится с вами и покажет, где нужно сворачивать. Антуан, отправляйся с господами — но не далее перекрестка.

АНТУАН (*резко*): Слушаюсь.

(КАРЛ и МАКС в сопровождении АНТУАНА выходят)

ЛЮСИЛЬ (*кричит*): Мы что же, совсем не будем танцевать?

ГРАФИНЯ ШТЕРН: Вы хотите сказать, что отпускаете этих людей?

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Этих прелестных молодых людей, которые обещали нечто новенькое!

ГРАФИНЯ ШТЕРН: Вы, явившийся причиной всего этого!

ПЕРВЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Вы отпустили их; но почему не нас?

КНЯЗЬ ФЕРДИНАНД: Вы не просили меня об этом.

ГРАФИНЯ ШТЕРН: Вы не дали нам такой возможности.

МАДАМ ДЕ ЛА ВАЛЬЕР: Жалость, кажется, новый элемент в вашем характере.

ВТОРОЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Раз мы таковы, так остаемся же такими навеки! Давайте начнем мазурку. Почему мы пререкаемся друг с другом здесь?

ТРЕТИЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Да, здесь. Где плач и скрежет зубовный!

(КНЯЗЬ играет мазурку; они танцуют и раздражаются хохотом).

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Тот же перекресток, что и в Сцене первой; КАРЛ и МАКС в двуколке, АНТУАН сзади.

КАРЛ: Все-таки здорово, что нам удалось улизнуть из того дома! Что это такое было? Полагаю, лечебница для душевнобольных.

МАКС *(серьезно)*: Нет, у меня сложилось другое мнение. Во всяком случае, давай не будем говорить об этом сейчас, — паж может услышать, к тому же при всей их эксцентричности эти люди были весьма любезны.

КАРЛ: Ба! Паж говорит только по-французски. Какая разница, что говорить?

МАКС: Думаю, большая. Мы же не знаем этих мест. Неизвестно, кто здесь обитает. Опять-таки у меня другая теория насчет всего этого. Но ты ей только посмеешься, и сейчас я тебе ничего

не скажу. Однако если верна твоя теория, то они определенно весьма разумные сумасшедшие, маньяки с системой.

АНТУАН (*на перекрестке*): Messieurs, par là à droite, et vous y serez en quelque minutes¹.

КАРЛ (*МАКСУ*): Есть у тебя с собой какие-нибудь деньги? Мы должны ему что-нибудь дать.

МАКС: Есть: золотой. Но убраться из этого дома стоило золотого, хотя бедность студенческой братии вошла в поговорку.

(*МАКС достает из кармана золотой, протягивает его АНТУАНУ, но тот исчез. Монета падает на дорогу*).

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Дом графа Аксельманштейна. На сцене: ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН; ГРАФИНЯ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН; ИРЭН и ШАРЛОТТА.

ШАРЛОТТА (*поднимается, выглядя уязвленной*): Вы чуточку припозднились.

КАРЛ: Если бы вы только знали...

ГРАФИНЯ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Лучше поздно, чем никогда! Но боюсь, вы действительно опоздали на наш небольшой танцевальный вечер. Все уже разъехались.

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Да, и ужин растащили эти хищники! Так что боюсь, что нам нечего предложить вам, кроме постелей для ночлега.

КАРЛ: Если вы минутку потерпите и выслушаете нас, то найдете для нас достаточно оправдания. Мы свернули на перекрестке не в ту сторону и подъехали к освещенному дому, как мы решили,

1 Господа, здесь поверните направо, и через несколько минут вы у цели (фр.)

вашему. Войдя внутрь, мы обнаружили там людей, одетых в маскарадные костюмы. Нас порядочно рассердило то, что вы не предупредили нас об этом, мы думали, что это будет небольшой танцевальный вечер, и, поверите ли, мы оставались в том доме довольно длительное время, думая, что вы вот-вот появитесь. Эти люди были определенно дружелюбны, но уж очень странны.

ШАРЛОТТА: Право, Карл, я бы никогда не поверила в то, что вы придумаете такую длинную вымышленную историю в качестве оправдания. Потому что, хоть это и глупо, но вашей положительной стороной всегда было говорить правду!

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: На той дороге нет ни одного дома. По крайней мере, поблизости.

ИРЭН (*приближаясь к МАКСУ*): Но, Макс, как вы бледны! Что же произошло?

МАКС: Ну, Карл сказал правду, вот и все.

ИРЭН: Боже милостивый! Да, я понимаю.

МАКС: Вы тоже побледнели, Ирэн. Отчего же? Я не понимаю.

ИРЭН: Оставим это. Возможно, завтра я расскажу вам. Правда, не знаю, расскажу ли, я знаю, вы считаете меня ужасно суеверной и, вероятно, посмеетесь надо мной, но сейчас, кажется, вам не до смеха.

МАКС: Надо думать, что нет. Но скажите же, что вы думаете.

ИРЭН: Нет, не сегодня. Завтра, возможно.

КАРЛ (*громко*): Что ж, хоть вечер и закончен, но мы-то совсем не танцевали. Прошу вас, хотя бы один танец.

ГРАФИНЯ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Хорошо, но только один, — девочкам пора спать.

ШАРЛОТТА: Что ж, если это один танец, то давайте станцуем польскую мазурку.

МАКС: Только не мазурку!

КАРЛ (*задумчиво*): Нет, только не мазурку! (*Быстро*). Мне более по душе вальсы и польки. В них больше веселья, чем в этом замысловатом танце.

ШАРЛОТТА: Что ж все-таки произошло с вами двумя: вы такие унылые и рассказываете какие-то смешные истории. Ну что ж, если вам не нравится мазурка — не вижу причины, почему вам ее не любить — давайте станцуем простой вальс, если мама будет настолько любезна, чтобы сыграть нам на фортепиано.

ГРАФИНЯ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Но помните, только один вальс! Не больше. Сегодня мы довольно танцевали; и у меня в руках простое средство — перестать играть. Вы не можете танцевать без музыки; а Генрих — совсем не музыкант.

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН (*в сторону, вполголоса*): Что же они имеют в виду? Верно, проказили где-нибудь. Из всех слышанных мною отговорок эта — самая неудачная. Ничего, позже я их прощупаю.

(*Танцуют вальс. ГРАФИНЯ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН играет; МАКС танцует с ИРЭН; КАРЛ — с ШАРЛОТТОЙ. Затем они желают дамам спокойной ночи*).

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Насчет ужина я пошутил, юноши. Кое-что еще осталось. (*Звонит в колокольчик*). И сохранился еще тот добрый шведский пунш.

МАКС: Я бы не отказался от чего-нибудь после того, что мы претерпели.

КАРЛ: Признаться, меня напугали ваши слова, что в доме ничего не осталось, ибо после долгой поездки мы ощутимо проголодались. Право, с нашей стороны был довольно глупо заехать не в тот дом!

(*Слуги приносят подносы с едой и напитками и ставят их на стол. Начинается трапеза*)

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: А теперь скажите мне прямо, где вы пропадали и почему явились так поздно? Скажите мне правду, я не буду возражать.

МАКС: Могу заверить вас, что все, что мы рассказали, было истинной правдой. Но отчего вы ставите под сомнение достоверность нашей истории?

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Опять вы, Макс, с вашими выпендренными выражениями! Вы могли бы с таким же успехом признаться в том, что ваш рассказ выдуман; и скверно выдуман! Я знаю, вы частенько фантазируете. Но вы, Карл, обладаете замечательным качеством — отсутствием какой бы то ни было фантазии. Несколько раз я слышал, что вы говорите только правду. Возможно, скажете и сейчас.

КАРЛ (*серьезно*): То, что говорит Макс, произошло на самом деле.

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Что за глупости! На той дороге нет никаких домов на протяжении миль. Местные придерживаются некоего нелепого суеверия, что нельзя жить рядом с обгорелыми развалинами дома, который, кажется, принадлежал князю Фердинанду фон Молтенбергу. Но что вызвало к жизни подобные суеверия, я даже и не позаботился узнать. Лучше обратитесь к Ирэн с такими вопросами. Снова спрашиваю вас — почему вы говорите, что по ошибке попали в дом на той дороге?

КАРЛ И МАКС (*вместе*): Но уверяю вас, мы там были.

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Глупости! Вы что же, думаете, что я не знаю этих мест? Уверен, вы попали в какую-то переделку, о которой я даже не хочу знать.

МАКС: Ну что ж, завтра утром мы покажем вам точное место, где мы были.

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Поскольку вы продолжаете цепляться за ваш рассказ, я поеду с вами завтра туда, где вы были,

если вы еще его сумеет вспомнить. А теперь по бокалу пунша и пожелаем друг другу доброй ночи.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Местность с обуглившимися руинами старого замка

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН (*сидясь на камень*): Право, если это розыгрыш, то довольно скверный. Я втащился на холм, проделал весь этот путь! Не хочу даже думать, что такое на вас нашло. Вы что, оба бредили прошлой ночью или выпили столько, что не смогли проехать дальше? Или, повторяю, это ваши глупые шутки? Если да, это очень глупая шутка. Хотя, возможно, вы скажете, что это не то место. Я определенно не собираюсь идти дальше!

КАРЛ (*озадаченно*): Да, это оно и есть.

МАКС (*медленно*): Да, то самое место.

(Появляются ИРЭН и ШАРЛОТТА)

ШАРЛОТТА: Мы подумали, что пойдем за вами. По крайней мере, Ирэн этого хотела, и я тоже пошла. Но что это все означает?

ИРЭН (*МАКСУ*): Думаю, я понимаю.

МАКС: Ну так скажите хотя бы мне.

ИРЭН (*МАКСУ*): Я расскажу всем, хотя они будут смеяться надо мной. Быть может, вы не будете.

МАКС (*ИРЭН*): Кажется, я начинаю смутно различать, что вы имеете в виду. Я вас пойму. Но лучше расскажите всем, что бы они ни сказали.

ИРЭН (*громко*): Отец, я знаю, вы считаете, что я смехотворно суеверна. Но услышанный прошлой ночью рассказ настолько

совпадает с тем, что я слышала об этом месте, что, на мой взгляд, вряд ли Макс и Карл могли его придумать. И я уверена, что они никогда не слышали об этом прежде.

КАРЛ: Но что же вы слышали? Я ничего об этом не знаю.

ШАРЛОТТА: Бедный милый Карл настолько лишен воображения, что вряд ли он мог что-то придумать; чего не скажешь о Максе.

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: В любом случае, расскажите мне обо всем. И покончим с этой нелепой историей.

ИРЭН: Ну что ж, рассказ таков: Здесь был замок одного князя, некоего Фердинанда фон Молтенберга, и как-то ночью, когда в замке был бал или прием, дом сгорел дотла. В поджоге был заподозрен слуга, который, по-видимому, имел что-то против своего хозяина, ибо на месте были обнаружены обгоревшие останки мальчика, причем рука в остатках ливреи, державшая металлический факел, осталась нетронутой огнем. Но почему тогда паж после того, как поджег дом, не спасся бегством, что удалось бы ему без труда? Я не могу этого понять. Были найдены и другие останки, в основном женские. Никто так и не смог разгадать эту тайну. Стоит прибавить, что князь Фердинанд правил этими местами когда-то.

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН: Ирэн, что ты еще скажешь? Полагаю, ты разыгрываешь и мистифицируешь меня. Но из твоего рассказа я так и не понял, какое отношение он имеет к нашим двум молодым друзьям.

ИРЭН: Погодите, отец, я дойду до этого. Легенда гласит, что раз в год, в годовщину этого события, дом предстает ярко освещенным. Вот и Иоганн, наш кучер, божится, что он видел его собственными глазами; и любого, кто входит в дом, приглашают танцевать с этими людьми. Разумеется, это документально подтверждено. Здесь были найдены останки трех молодых людей. Я

не помню точных дат, но впервые это произошло то ли в начале этого века, то ли в конце прошлого. Во второй раз это произошло в 1830 или 1840 году, а в третий, чему я была свидетелем, — в позапрошлом году; разве вы не помните, об этом еще так много писали газеты — предполагаемое самоубийство барона Леонгарда фон Голденштейна? Помните необычные обстоятельства этого дела, как тело его было найдено среди этих руин, без какого-либо следа ранения? И врачи также не смогли найти ни яда, ни признаков какого-либо заболевания.

(Всех пробирает дрожь)

ИРЭН (МАКСУ): Вы не танцевали с ними?

МАКС *(опять очень медленно)*: Нет, не танцевали, но мы видели тех троих молодых людей.

КАРЛ *(бледнея и дрожа)*: Да, рассказ буквальным образом подтверждается. Мы видели тех молодых людей, о которых вы упомянули; и нескольких дам, а также князя. *(Поворачиваясь к ГРАФУ АКСЕЛЬМАНШТЕЙНУ)*. Теперь-то вы нам поверите. Я и сам никогда не верил в такие штуки. Но то, что я говорю и говорил, — правда.

ГРАФ АКСЕЛЬМАНШТЕЙН *(также бледный и дрожащий)*: Да уж, история довольно странная!

ИРЭН *(обвивая руками МАКСА)*: О Макс! Так вы не танцевали с ними! Этим вы спасли себе жизнь! *(Лишается чувств)*.

КАРЛ *(пытаясь справиться с собой)*: Ну уж нет, нам более по душе танцевать с Ирэн и Шарлоттой, чем с призраками.

КОНЕЦ

Дитя души

(Беседа, услышанная в пассажирском вагоне.) Как я дошел до подслушивания — или точнее, до невольного выслушивания чужого разговора — для данной истории несущественно. Моглишь сказать, что места в вагоне первого класса создают прекрасные условия для наблюдений за соседним купе.

Поезд не был экспрессом. Он останавливался на каждой станции: возможно, поэтому, устав от дороги, я принялся наблюдать за моими соседями. Однако, как уже было сказано, моя персона не имеет отношения к этой истории. Поэтому я сразу перейду к описанию пассажиров соседнего купе.

Слева (спиной к локомотиву) сидел мужчина лет тридцати, из тех, что хотели бы выглядеть моложе. Как бы обрисовать его облик? Он принадлежал к тому типу, который принято называть аристократическим, но назвать его так было бы все-таки несправедливо, ибо принадлежащие к аристократическому типу обычно некрасивы: а тут — серо-стальные, ястребиные глаза, утонченные черты, лицо, в юности, должно быть, обаятельнейшее; его даже не меняли выглядевшие преждевременными морщины. (Я забыл упомянуть, что было семь утра и что дело происходило в медлительном бельгийском поезде с конечной остановкой в Брюсселе). Мужчина был чисто выбрит, рот его имел — вернее сказать, приобрел — довольно циничное выражение, что было бы особенно неприятно, если бы его серо-стальные глаза порой не вспыхивали юношеской искренностью. Он читал местную газету, имевшую два названия: «Остраксе Крант» и «Журнал дё Круа ле Пти Шам», которая, как многие местные газеты в Бельгии, была напечатана на причудливой смеси французского и фламандского языков. Двухязычные объявления видимо забавляли его, — он понимал французский и, зная немецкий, догадывался о значении фламандских слов.

Напротив него (лицом к локомотиву) сидела дама, настолько укутанная в меха и плотную вуаль, что ее практически невозможно было разглядеть: она спала.

Наконец, мужчина дошел до церковного объявления, помещенного среди театральных анонсов, как часто делается в бельгийских газетах; объявление было примерно такого содержания:

...de 31' Augustus in de Kerk van onze lieve Vrouw...

...Solemnele Hoogmis met uitmundende muziek voor de ziel van Lord Kilcoran.

...demain matin à onze heures aura lieu le Requiem solonnel pour l'anniversaire de la mort tant regrettee du Lord Kilcoran.

...Sans doute plusieurs de nos concitoyens y assisteront, si non pour memoire du trépassé, au moins pour avoir encore l'occasion d'entendre le célèbre equiem de notre compatriote Sybrandt von den Velden, executé par l'orchestre excellente de notre ville¹.

— Вот тебе на! — громко произнес мужчина. — Ведь сегодня годовщина смерти Генри: а я и забыл — и проскочил остановку.

Женщина, вздрогнув, приподняла вуаль, словно заслышав знакомый голос, и показала из своих соболей. Одетая в глубокий траур, что не мешало ей выглядеть элегантно, она была изысканно красива, лет примерно тридцати, с удивительными золотистыми волосами и ярко-синими глазами.

— Альфред! — позвала она.

— Маргарет! — откликнулся мужчина. Впрочем, я не помню, кто заговорил первым. После этого она произнесла:

— Неужели вы действительно забыли о годовщине смерти Генри? Тогда почему вы здесь?

1 31 августа в церкви Богоматери... торжественное богослужение в сопровождении превосходной музыки за упокой души лорда Килкорана (нид.);

Завтра в 11 часов утра состоится торжественная панихида по случаю годовщины столь прискорбной кончины лорда Килкорана. Многие наши сограждане, несомненно, почтят её своим присутствием, даже если и не в память об усопшем, то, по крайней мере, чтобы воспользоваться случаем и услышать знаменитый «Реквием» нашего соотечественника Сибрандта ван ден Вельдена в исполнении превосходного оркестра нашего города (фр.)

— Моя дорогая, я к своему стыду совсем бы об этом забыл, если бы не эта газетенка.

— Тогда почему вы едете на этом поезде в Остраке? — спросила она.

— Дорогая, возможно, вы помните, что мы собирались встретиться в Брюсселе, — тут он усмехнулся цинично и неприятно, — где, если мне не изменяет память, у нас было похвальное намерение сочетаться браком. Я прибыл на этом поезде в Брюссель, ожидая увидеть вас там.

— Да, — сказала она. — Я тоже еду в Брюссель. — Тут она также попыталась изобразить циничную усмешку, но у нее ничего не вышло; лицо ее исказилось от боли, но она, тем не менее, сумела добавить легкомысленно:

— Из уважения к приличиям я обязана навестить могилу Генри.

— Вы, кажется, относитесь к этому как к удобному поводу продемонстрировать элегантность вашего туалета, ибо даже накануне нашей свадьбы вы облачены в траурное платье самого лучшего фасона.

Он произнес это резко, хотя на лице его была подлинная скорбь.

— Боже мой! Альфред, что вы хотите сказать? Неужели вы думаете, что я не любила Генри?

— Хм, учитывая, что...

— Нет, — оборвала она. — Скажу сразу, что я никого не любила так, как Генри, моего мужа, и... — добавила она почти торжественно, — я приехала повидать моего ребенка.

Лицо мужчины смягчилось, я даже не ожидал увидеть на нем такое выражение. Он произнес:

— Да, конечно, — маленький Сибу; мы должны забрать его к себе, когда поженимся. Ему больше нельзя жить с Элизабет.

При этих словах на ее лице появилась гримаса страдания. Она достала висевший на шее медальон с локоном золотистых волос, которые были еще тоньше и красивее, чем ее собственные. Поцеловав медальон, она спросила:

— Слышали вы что-нибудь о Сибу?

— Нет, а что? — Вновь неприятное циничное выражение появилось на его лице. — Просто я решил, что если вы так сильно любили вашего мужа, то вам, верно, дорог и ребенок. Вы, право, типичная английская матрона.

Однако, судя по выражению его лица — почти нежному и смущенному, — он явно пожалел о сказанном, добавив мягко:

— Впрочем, вряд ли мы заботили Сибу. Он любил одного отца.

Она произнесла без выражения:

— Тогда вы не в курсе событий, — тут она слабо улыбнулась, — да и как бы вы узнали об этом, если в своих немногих письмах к вам я писала о самых заурядных вещах. — Так же без выражения она произнесла: — После похорон Генри Сибу лишился рассудка.

— Лишился рассудка! — повторил мужчина. — Он же был таким толковым мальчуганом. Но это не причина, чтобы отдалять его от нас; скорее, наоборот. Думаю, мы должны забрать его из этих бельгийских туманов в Килкоран, где ему положено жить по праву, в своем собственном поместье.

Лицо его приобрело выражение общепринятой английской сдержанности; с язвительной злостью и в то же время кротко она ответила:

— Есть еще одна деталь, которую вы не знаете.

— Помилуйте, Маргарет, вы просто невыносимы! Что, черт возьми, вы хотите сказать? С меня достаточно унижения оттого, что я женюсь на женщине, которая гораздо богаче меня. Неужели вы думаете, что я собираюсь обмануть ребенка и лишить его наследства? В любом случае, — со смехом добавил он, — я не смог бы этого сделать, даже если бы захотел, поскольку Килкоран принадлежит ему.

— Килкоран, — ровно произнесла она, — не принадлежит ни ему, ни мне; мне даже больше, чем ему.

— О чем вы говорите? Могу ли я тогда узнать, кому он принадлежит?

На лице его появилось то грубое выражение, которое часто встречается у мужчин при разговорах со знакомыми женщинами. Во мне опять возникла неприязнь к нему. Но она продолжила:

— Надеюсь, вы не передумали вступать со мной в брак? Законный брак?

Поженимся, милый,
Ждать больше нет силы¹

Она засмеялась и язвительно добавила:

— Тогда я могу сказать вам, что Сибу — не сын Килкорана.

— Он не сын Килкорана? Чей же он сын? — На его лице было истинное изумление. — Я не понимаю, что вы хотите сказать. Генри отдавал мальчику всего себя, а тот обожал Генри и, как вы сами сказали, после похорон обезумел от горя. Я прошу вас объясниться.

Тихо и со злостью она ответила:

— Неужели вы полагали, что только у вас имеется монополия на адюльтер?

Последовало долгое молчание. Наконец, он произнес:

— Я тоже сойду в Остраке.

В это время поезд уже подходил к Остраке. Мужчина помог своей спутнице спуститься на перрон, и уже оттуда до меня доносился его вопрос:

— Скажите мне одно. Знал ли Генри?

С еще большей злостью она ответила:

— Да!

ЧАСТЬ II ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Дед покойного графа Килкорана оставил после себя двух сыновей — Майкла и Патрика. В те дни законы против папистов и неконформистов были еще в моде².

¹ В оригинале — измененная цитата из стихотворения Эдварда Лира (1812-1888)

«Киска и Сыч» (пер. Ирины Комаровой).

² Ряд суровых законов (также известных под названием «папский кодекс»), против представителей неофициальной церкви: Акт о корпорации (1661), исключавший неконформистов из городской корпорации; Акт о единообразии (1662), предписывающий использование «Книги всеобщей молитвы» как стандартного молитвенника во время богослужений; Акт о молельнях (1664), запрещающий неконформистам собственные богослужения, и так называемый Акт о пяти милях (1665), запрещающий неконформистским священникам подходить к городам ближе, чем на пять миль. Действие последних двух актов было отменено в 1689 г., а Акта о корпорации — лишь в 1828 г.

Младший брат Патрик объявил себя протестантом и заявил о претензиях на поместье отца. Но нашелся пергамент, написанный еще во времена королевы Елизаветы и гласящий, что Килкораны, предоставившие убежище нескольким беженцам-протестантам, награждались особыми привилегиями, и потому ни один член семейства, перешедший в протестантскую веру, не может изменить порядок наследования. Естественно, между братьями произошел разрыв. Майкл остался в родовом поместье, а Патрик уехал в Ольстер, где уже на закате жизни женился и обзавелся дочерью Элизабет, которая впоследствии вышла замуж за хорошо известного врача, сэра Джозефа Рэнделла, от которого родилась дочь Дороти.

Майкл тоже поздно обзавелся семьей. Его сын Генри женился на леди Маргарет Тримейн и оставил сына по имени Сибрандт.

ЧАСТЬ III

Глава I

(Почти годом ранее)

Рассказ леди Рэнделл

Прежде чем начать свою историю, я хотела бы представиться. Я — женщина; мой возраст никого не касается. Довольно сказать, что у меня есть дочь восемнадцати лет и что я рано вышла замуж: меня называют миловидной, и я, хоть это тоже имеет малое касательство к рассказу, вдова достаточно известного врача, сэра Джозефа Рэнделла. Меня зовут Элизабет, что, впрочем, известно всем моим знакомым. Итак, приступим:

Мы с дочерью, отличавшейся слабым здоровьем, остановились в одной остракской гостинице (выбранной из всех других): прежде всего по той причине, что нам необходимо было спокойное место (хотя Остраке спокойным не назовешь, ибо один ребенок в сабо может наделать больше шума, чем дюжина городских омнибусов), и еще потому, что эту гостиницу нам особенно рекомендовали, должна сказать, вполне заслуженно (мое упоминание о муже здесь вполне уместно, поскольку именно от него я

переняла привычку к наблюдениям: от природы у меня пылкий склад ума). Но в этом городке чего-нибудь интересного было не найти. Да, гостиница была хороша: табльдот не вызывал упреков: но мы и были этим самым табльдотом — единственные жильцы на всю гостиницу, за исключением еще одного человека: он никогда не спускался к завтраку, но мы часто видели, как он входит и выходит из отеля. Соответственно, он-то и интересовал меня больше всего: странный мужчина с бледным лицом, на котором застыла печаль. Дороти — так зовут мою дочь — предложила взглянуть в книгу постояльцев и узнать, кто он такой; однако я сочла подобный поступок не очень порядочным, хотя мне самой ужасно хотелось это сделать. Так что я строго отчитала дочь за чрезмерное любопытство. Вообразите мой восторг и удивление, когда в один из дней незнакомец присоединился к нам за табльдотом.

Я уже говорила, что в нем угадывалась какая-то странность. Черты его лица сохраняли следы былой красоты. Я не могла судить о его возрасте: на вид ему было лет сорок, но казалось, что он состарился преждевременно; возможно, он был моложе. (Конечно, я описываю свои первые впечатления, ибо сейчас мне известно о нем почти все или более чем достаточно). Но продолжим.

Он сел за стол напротив нас, где было три свободных места: вместо привычной грусти его взгляд выражал нетерпеливое ожидание. Он явно ждал кого-то. Вскоре в зал вошли женщина и мужчина. Как бы мне их описать? Дама была в светло-голубом платье отличного покроя, — женский глаз обычно замечает такие вещи прежде всего. Она была безусловно красива — даже более того; грациозность ее форм и движений с первого взгляда поразили меня. Но то, что мне, как французы говорят, *sautait aux yeux*¹ в ее облике, были ее золотые волосы, заплетенные в толстые косы и уложенные по очень оригинальной моде. Мужчина был высок и определенно привлекателен. Она подошла к нему, я имею в виду мужчину, о котором говорила прежде: чтобы избежать путаницы, я буду называть его печальным господином. Женщина поцеловала его в щеку, а ее спутник по-дружески — мне показалось,

1 бросилось в глаза (фр.)

даже нежно — похлопал того по плечу и довольно банально поприветствовал: «Как поживаете, старина?»

Единственным ответом печального господина было:

— Где Сибу?

— Он наверху, с няней, — отвечала женщина.

На лице мужчины возникло выражение крайней озабоченности: вновь прибывшие заняли места за столом, и нам подали суп. Мое любопытство разгорелось еще сильнее.

Внезапно лицо его изменилось: я уже говорила, что оно носило следы былой красоты, но теперь оно стало чуть ли не прекрасным; в зал вбежал мальчик лет восьми-девяти. Я должна описать его, чтобы сделать рассказ более понятным, хотя сначала мне не удалось рассмотреть его лицо. Очаровательное видение. Даже не знаю, смогу ли я воздать ему должное: прелестные золотистые волосы (по которым я заключила, что женщина была его матерью) напоминали шелк и превосходили по красоте ее собственные золотые косы. Его глаза, как это ни странно звучит, были фиолетовы, с длинными загнутыми ресницами, и придавали ему вид преклоняющегося ангела с картины Луини. Впрочем, он вбежал в комнату: и я не успела оглядеть его как следует. Я успела лишь заметить, что он пролетел или даже проскользил через комнату и с криком «Папа!» бросился в объятия печального господина.

— Сибу, — заметила женщина, — ведь я же сказала тебе оставаться в номере: папа повидался бы с тобою позже.

Мальчик отвечал голосом, чье звучание странным образом напоминало органнй vox humana:

— Папочка, можно я побуду с тобой? Я обещаю хорошо себя вести и совсем не разговаривать.

— Даже не знаю, — ответил мужчина. Тем не менее, мальчик остался с ним, усевшись на табуретку рядом.

Табльдот продолжался обычным образом. После супа нам подали рыбу, за которой последовало нечто странное под названием «ростбиф» и курица, сменившая свое обычное прозвание на «Poularde au cresson»¹. Компания оживленно беседовала;

1 пулярка с кресс-салатом (фр.)

признаться, я была удивлена, услышав, как наш печальный знакомый отпустил несколько шуточных замечаний.

Тем не менее, мне было интересно, в каких отношениях состоят эти люди. Было странно, что ребенок был почти или даже совсем не похож на отца; внешностью и цветом волос он походил на женщину, но данное сходство носило родственный характер, выражением лица он совершенно от нее отличался. С другой стороны, мальчик (забыв о своем обещании, он охотно вступал в разговор) называл женщину «матушка», а не «мама», в то время как печального господина он называл «папой». Второго мужчину он называл «дядя Альфред». Но тот был не похож ни на женщину, ни на печального господина: был он ее брат или его? Их ли родственник он вообще? Так или иначе, они говорили по-английски: и, дождавшись «Bavaroise de chocolat a la creme»¹, мы разговорились с ними, как обычно случается в маленьких гостиницах, и когда нам подали кофе — вернее, еще не подали (забыла упомянуть о своем ирландском происхождении), мы перешли в то, что зовется «салон для бесед». Там стояло фортепьяно; мальчик подбежал к нему и с мольбой повернулся к отцу.

— Папа, я не играл уже четыре дня. Можно, я чуточку поиграю — совсем чуточку?

Того это явно смутило, и он произнес:

— Возможно, дамы будут против.

Разумеется, мы — боюсь, довольно малодушно — заявили, что не возражаем. Но человек, которого назвали Альфредом, заверил нас:

— Это не так уж плохо. Он не станет играть «Сон Руссо» или «Битву под Прагой». Мальчик играет совсем недурно.

Более чем недурно! Мальчик сел за инструмент и заиграл. При первых звуках глаза его вдохновенно загорелись: точно божественный фиолетовый свет брызнул из них. Сейчас он был скорее похож на серафима в славе, чем на преклоняющегося ангела: и как он играл! То была странная и сложная импровизация,

¹ баварский шоколад со сливками (фр.)

вариация на тему, которая показалась мне очень знакомой. Внезапно дочь наклонилась ко мне и прошептала:

— Мама, мы уже слышали эту мелодию раньше. Помните тот концерт в Брюсселе, на котором солировал Сибрандт ван ден Вельден? В программке эта пьеса называлась «Импровизированной вариацией на собственную тему». Но как о ней узнал этот ребенок? Мы слушали эту музыку так давно: в ту пору его еще на свете не было.

И тогда я вспомнила, что лет десять назад некий молодой музыкант по имени Сибрандт ван ден Вельден действительно пользовался популярностью. Меня поразило, что Дороти, моя дочь, которую я считала не особенно сообразительной (и, кстати, совершенно напрасно), сохранила в памяти то, о чем она слышала, когда ей было столько же, сколько мальчику, играющему сейчас на фортепьяно.

У нас определенно не возникло возражений.

На лице мужчины появилось выражение экстатического восторга — но вовсе не от игры сына. Я заметила (а мой покойный муж научил меня наблюдать за каждой мелочью), что на его лице отразились какие-то мучительные воспоминания.

Затем женщина произнесла:

— Право, Сибу, тебе пора в постель.

Мальчик не пожелал спокойной ночи матери и мужчине, которого звали Альфред: лишь своему отцу, при этом горячо его поцеловав.

Лицо того снова расцвело, и он начертал знак креста на лбу мальчика, который выскользнул из комнаты так бесшумно, что я не заметила момент его ухода. Женщина произнесла:

— Мы с Альфредом собираемся прогуляться по городу. Вы не хотите присоединиться к нам?

— Я тут уже все осмотрел, — ответил тот. — Так что оставайтесь, детки, наедине друг с другом.

Это было сказано вполне добродушно. Но я не смогла отделаться от ощущения, что в этом всем было что-то странное. Он попросил разрешения закурить; я разрешила и сказала дочери,

что ей тоже пора бы отправляться спать. Таким образом, я осталась с ним наедине, как мне давно хотелось, чтобы удовлетворить свое любопытство и выяснить, кто он таков.

Глава II

— Что ж, — отважилась я сказать, ибо из последующего знакомства выяснилось, что он был куда общительней, чем мне казалось прежде, — могу ли я спросить вас напрямую — каким образом вы попали сюда? Я всегда считала, что это мы открыли Остраке. До нашего появления здесь никто не слышал английской речи: и потом, первооткрыватели всегда противятся вторжению в их любимое местечко.

— Не знаю, когда вы открыли Остраке, — любезно отвечал он, — но думаю, что я открыл его задолго до вас, довольно случайно; я, видите ли, знавал кое-кого из местных. — При этих словах на его лице опять появилось то мучительное выражение, которое я заметила раньше: и тут же обратилось в привлекательную улыбку (я даже не предполагала, что он может улыбаться). — С моей стороны было очень нечестно привезти с собой жену: это место определенно не придется ей по душе.

Задумчиво он добавил:

— Но как бы я жил без моего ребенка?

С самой первой встречи он показался мне излишне сдержанным, но сейчас был, похоже, склонен довериться мне. Не раз мне говорили, что я вызываю у людей подобные чувства. Но вместо этого я сказала:

— Как прекрасно играет ваш мальчик!

— О, да, у него замечательный талант к музыке.

— А ведь еще совсем дитя! Можно спросить, у кого он учился?

— Самое необыкновенное, — отвечал он, — что мальчик ни у кого не брал уроков. Он не разбирает нот и вряд ли воспроизведет даже простую песенку вроде «Домика у леса». Однако, по общему признанию, играет он неплохо.

— Так уж и неплохо, — подхватила я, — играет он просто великолепно. Словно бы по вдохновению.

— Вдохновение, — повторил он. — Какой смысл вы вкладываете в это слово? Вы наверняка понимаете его по-своему и не верите в сверхъестественное или противоестественное. (Как он об этом узнал: неужели догадался, что я жена врача?) Он продолжал: — Мне кажется, что он подвержен какому-то чуждому влиянию, иначе он не мог бы так играть.

— Но право, — сказала я, — с таким потрясающим талантом его следует отдать под опеку лучшим педагогам: при обучении приемам и азам музыки из него вырастет нечто феноменальное.

— Я не хочу, чтобы мой ребенок стал юным гением. Это сделало бы его тщеславным и самоуверенным, а он, *Deo gratias*¹, не таков.

Меня поразило то, что он употребил здесь эту обычную для католической службы фразу: и тут же записала печального господина в католики. Но мне по-прежнему хотелось выяснить о нем побольше. Поэтому, поразмыслив, я перешла в наступление.

— Ужасно скучный городок этот Остраке; нам с дочерью совершенно не с кем общаться.

Я собиралась выразить эту мысль несколько иначе, но уж как получилось, так получилось.

— Нам одним выделен целый салон на втором этаже, что выглядит довольно своекорыстно. Не хотели бы вы с женой зайти к нам на чашку чая? Мы с дочерью пьем чай обычно в пять часов вечера, следуя доброму английскому обычаю. Чай здесь совсем не пьют. Но мы привезли немного с собой, вместе с настоящим русским самоваром. Думаю, наш чай вам понравится.

— Мы с женой будем рады, — отвечал он. — Признаюсь, я не ожидал встретить англичан в Остраке.

— Раз уж нас выбросило на этот необитаемый остров, хотя и не совсем необитаемый, и островом его тоже не назовешь, — все же я оставляю за собой надежду увидеться завтра. На всякий случай дам свою визитку, — и я протянула ему карточку.

Он удивленно взглянул на нее, хотя я не могла понять, что удивительного было в моем предложении.

1 Слава Богу (лат.)

Но вот он протянул мне свою визитную карточку — и я изумилась больше его. На карточке стояло: «Граф Килкоран». Мой собственный кузен! встреченный мною в этой глухомани: да тот еще, который по семейным причинам вряд ли станет питать ко мне добрые чувства. Не повея бровью, я заметила:

— Я вижу, мы в близком родстве: надеюсь, данный факт не помешает нам остаться друзьями.

— Лично я не вижу причин для вражды, — с приветливой улыбкой ответил он.

— Тогда смотрите, — продолжала я, — я ожидаю вас завтра к пяти часам, номер семнадцать. Вас с женой и ребенка и... (здесь я заколебалась, но все же рискнула) вашего шурина.

— Шурина? — переспросил он. — Я полагаю, вы говорите об Альфреде. Он мне не родственник, да и вам тоже. Но вы можете знать его семью. Его зовут Альфред Этенри, сын лорда Дангори. Они из Голуэя.

Конечно же, я их знала. Ведь нас объединяло нечто общее — мы не были англичанами: выяснилось, что мы оба ирландцы — еще одна сближающая деталь. Да к тому же родственники.

— Прошу прощения, но мне пора идти, — сказала я. — Дочь уже заждалась. *À demain*¹.

Глава III

На следующее утро я выглянула в окно и увидела, что мой кузен и его гениальный ребенок направляются рука об руку к той прекрасной большой церкви, которую в путеводителях вечно именуется собором, — хотя это вовсе не собор. Вполне обыденная картина, но она вызвала у меня бурю мыслей; точнее, поставила передо мной две темы, о которых я прежде не задумывалась. Что такое отцовство? В чем заключается смысл этой таинственной религии, которую меня научили ненавидеть и презирать? Я не любила своих родителей. Мать умерла, когда я была

¹ До завтра (фр.)

еще ребенком. У меня остались лишь смутные воспоминания о ней: сухая и строгая, с завитыми волосами. В отце было нечто такое, что заставляло относиться к нему с недоверием. Он заинтересовал меня лишь однажды — когда умирал, и это было страшно. Я присутствовала у его одра все время и слышала, как он бредил перед смертью, умоляя меня: «Элизабет, ради Бога и спасения своей души пошли за священником! За настоящим, католическим священником!» Затем он снова начинал бредить, повторяя раз за разом: «*Sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae*»¹; «*hora mortis*», — повторил он; внезапно, рванувшись с постели, и с полными ужаса глазами вскричал пронзительно: «*Memorare O pessima neminam ad tuam*²... проклятье! Я забыл эту молитву!» Упав на подушки, он тихо прошептал: «*Esse derelictum?*» Послали за священником, что меня удивило, ибо нас в Ирландии принято было называть «черными протестантами»³. Священника не оказалось дома. Мы жили в малонаселенной сельской местности. Священник уехал соборовать одну старую женщину, известную в округе своим благочестием, которая вряд ли нуждалась в этом последнем утешении так, как мой отец. Впоследствии я вышла замуж за врача, кто (как это часто с врачами случается) был атеистом. И все же меня продолжал мучить вопрос, какая таинственная сила заставила моего отца молить о последнем причастии после того, как он долгие годы хулил и отвергал религию? Но я отвлеклась. Несмотря на отчуждение двух наших семейств, у меня не было причин относиться враждебно к Килкорану, своему двоюродному брату; к тому же я не разделяла предрассудков отца — по крайней мере, в ту пору.

1 Святая Мария, Матерь Бога, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей (лат.) — слова из католической Литании Пресвятой Богородице.

2 Отец Элизабет пытается вспомнить начало молитвы св. Бернарда: «*Memorare, O piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quatenus ad tua currentem praesidia...*» «Вспомни, о всемилостивая Дева Мария, что испокон века никто не слышал о том, чтобы кто-либо из прибегающих к Тебе, просящих о Твоей помощи...» «*Esse derelictum*» — «был Тобою оставлен».

3 Так называют протестантов, особо приверженных своей церкви; большинство их относится к последователям евангельского христианства.

Глава IV

Итак, тем вечером они, как и обещали, пришли на чаепитие, и наше знакомство укрепилось. Мы приглашали друг друга на чай, вместе ходили в театр — ибо Остраке гордится, и заслуженно, своим театром, — на концерты и экскурсии по окрестностям. Учитывая наше с Килкораном родство, мы стали называть друг друга по именам. Чем больше я узнавала его, тем сильнее мне нравился мой кузен. Но это не относилось к Маргарет, хотя порой она могла быть просто очаровательной, и я определенно невзлюбила Альфреда, хотя он блистал умом и юмором. Его связывало с Маргарет нечто такое, что ставило меня в тупик; неужели Килкоран, которого нельзя было назвать ненаблюдательным, не замечал того, что буквально бросалось в глаза? Ко всему, что происходило между теми двумя, он относился с абсолютным безразличием. И это притом, что в других обстоятельствах он замечал малейшие подробности.

Что касается ребенка, разве не говорила я, что он сразу завладел моим сердцем? — чем больше я виделась с ним, тем сильнее становилась эта любовь. Мне трудно описывать его, хотя к тому времени мы уже успели познакомиться ближе. Он не относился к числу так называемых умненьких мальчиков; но он был смышлен и одарен, причем гнусная скороспелость, этот общий недостаток всех исключительных детей, напрочь отсутствовала в нем. Его скороспелость выражалась только в музыке, и здесь он действительно был развит не по годам; не будучи застенчивым, он умел молчать и следовал наставлению, что мальчиков должно быть видно, но не слышно. Он воодушевлялся, только находясь рядом с отцом; с другими он разговаривал, только когда его о чем-то спрашивали.

Глава V

Как-то раз мы были на концерте; концерт был исключительный — хотя в Англии концерты тоже бывают неплохи, — должен был выступать известный скрипач, не менее известный пианист и кто-то еще, чьи имена выветрились из моей памяти, да они и

не имеют к этой истории никакого отношения. Никто из нас не приобрел программки заранее, и я ознакомилась с ней только перед самым концертом. Первое, что бросилось мне в глаза, был «Романс» для скрипки, сочиненный Сибрандтом ван ден Вельдемом, о котором совсем недавно говорила дочь. Сейчас я уже не помню, что заставило меня связать его имя с семейством кузена. Мне просто подумалось, что оно их заинтересует. И оно действительно произвело на них впечатление, причем довольно неожиданное. Я уже говорила, что лет десять назад, будучи в Бельгии, мне довелось побывать на концерте Сибрандта ван ден Вельдена. Я живо помню его — как единственного слышанного мною исполнителя, не считая многих известных пианистов, кому удалось воссоздать и донести до слушателей игру Шопена. В те дни он имел огромный успех. Его оригинальные и яркие композиции были почти неизвестны за пределами Бельгии, и Остраке, его родной город, им по праву гордится, ибо не мог похвастать уроженцами такого масштаба.

Маргарет всегда отличалась бледностью; но не тою меловой бледностью, которая говорит о нездоровье, — ее кожа была цвета слоновой кости, что так шло ее золотистым волосам; я даже стала называть ее Хрисоэлефантиной¹. Когда начался «Романс» для скрипки (программка была только у меня, и Маргарет не знала, какой номер будет следующим), ее лицо стало восковым. Мне показалось, что с ней вот-вот случится обморок, и я приготовилась оказать ей помощь. Но ничего подобного! В ее голубых глазах, неотрывно глядевших на мужа, ледяная ненависть сменилась укором, а укор — невыразимой нежностью. Да, она любила его, что было трудно угадать в ее манерах, хотя по виду они неплохо ладили. Однако здесь ошибки быть не могло. Если и можно было прочесть настоящую любовь в женских глазах, то это были глаза Маргарет. После чего на лице ее появилось мучительное

1 (от греч. chrysós — золото и elephas — слоновая кость), так в древней Греции назывались скульптуры из пластин золота (волосы, одежда) и слоновой кости (обнаженное тело) на деревянном каркасе. Наиболее известные образцы — колоссальные статуи Зевса и Афины работы Фидия.

выражение, напомнившее мне лицо ее мужа в день нашего знакомства, когда его сын играл на фортепьяно. Сейчас мой кузен сидел в глубине ложи, намеренно выбрав самый затененный уголок. Альфред был безразличен и явно скучал. А лицо мальчика сияло, будто озаренное небесным светом. Широко раскрытые глаза блестели, как аметисты, все его худенькое тело трепетало от восторга.

Почему же они так разволновались, слушая эту пьесу, которую лично я находила хоть и замечательной в своем роде, но все же недостаточно выразительной, чтобы вызвать подобные чувства? Я еще могла понять эмоции ребенка — он был очень впечатлительным к музыке; и все же, в этом случае, чрезмерно впечатлительным.

Концерт подходил к концу. Оставалось два номера, когда Дороти очень вовремя произнесла:

— Мама, я думаю, что после этой вещи дурацкая песенка из «Травиаты» будет просто невыносимой. Не лучше ли нам уйти?

Килкоран поддержал ее дрожащим голосом:

— Да, я согласен с вами.

Но, выходя из своего уголка на свет, он произнес с улыбкой:

— Очень жаль портить кому-то самые лучшие его впечатления.

Губы его улыбались, глаза — нет. Маргарет проворчала, впрочем, довольно вежливо:

— Я тоже считаю, что нам пора уходить.

И Альфред добавил:

— Да, здесь ужасно душно.

Глава VI

Тем же вечером в «салоне для бесед» Альфред предложил:

— Сибу, не мог бы ты сыграть нам что-нибудь?

Мальчик угрюмо ответил — я никогда не видела его таким, он всегда был очень приветлив:

— А что вам хотелось бы услышать?

Альфред, относившийся к мальчику с теплотой — что казалось мне лучшей чертой его характера, — сказал дружелюбно:

— Может, ты запомнил какую-нибудь вещь из этого концерта?

Во время ужина Сибу не произнес ни слова. Со скучным видом он сидел на диване, прильнув к плечу Килкорана. Но тут при словах Альфреда заметно оживился.

— Да, — сказал он, улыбаясь и сразу становясь похожим на отца. — Я кое-что запомнил!

Несмотря на легкое сопротивление отца, он стрелой метнулся к фортепьяно и заиграл. Я уже говорила о том, что играл он божественно; что остается добавить? С этой игрой не могло сравниться ни одно из его прежних выступлений.

«Романс» ван ден Вельдена произвел на меня впечатление; однако нельзя сказать, что, прослушав его, я забыла все на свете. Мальчик исполнял это произведение совершенно не так, как знаменитый скрипач. Маленький ребенок, сидя за не то чтобы очень хорошим инструментом и подпевая себе тонким голосом, удивительно напоминавшим скрипку, доносил до нас то, что, без сомнения, сам автор рассчитывал донести при помощи скрипки и целого оркестра. И тогда я поняла, что это — творение гения. Музыка настолько захватила меня, что я даже не заметила, как Килкоран поднялся с кресла и крикнул дрожащим от боли голосом:

— Сибрандт!

Мальчика всегда называли Сибу; теперь я вспомнила, что это его полное имя; потому-то я и связала мысленно произведение ван ден Вельдена с семейством Килкоранов. Но почему он вдруг назвал своего ребенка Сибрандт? Мальчик не обратил внимания на его призыв и продолжал играть. А ведь в обычное время он улавливал малейшие модуляции отцовского голоса. Но в этот раз он продолжал играть, поглощенный какой-то невероятно сложной вариацией «Романса». Килкоран вытянул руки, сделал пару шагов к фортепьяно и внезапно рухнул посреди комнаты. То была странная сцена. При обычных обстоятельствах кто-то мог бы предположить, что с ним случился обморок. Но я, то ли интуитивно, то ли потому, что была женой врача, поняла, что он мертв.

Дальше события развивались ужасным образом. Настала абсолютная тишина. Кажется, все присутствующие осознали то же, что и я. Маргарет поднялась с кресла и застыла. Альфред бросился за доктором. Он не произнес ни слова, но я была уверена в его намерении. И только мальчик еще играл. Так мы и ждали в молчании: никто не пытался помочь человеку, который, на первый взгляд, был просто в обмороке. Ребенок играл — забыв обо всем, словно безумев.

Наконец, Альфред вернулся с доктором: тот послушал сердце и — что ж, ему не нужно было говорить то, о чем мы уже знали. Высказанная им фраза кончалась словом «mort»¹.

Ребенок, по-прежнему разыгрывавший вариации, играл сейчас не так быстро. По-видимому, услышав последнее слово доктора, он ударил по клавише, — мне четко запомнился этот момент (как западают в память подобные мелочи!) Этот диссонанс, тем не менее, прозвучал весьма гармонично; он просто не мог ударить не по той клавише. Затем он повернулся на своем стуле и увидел. «Папа!» — только и произнес он, и голос его был похож на звук верхней скрипичной струны, лопнувшей от неимоверного напряжения.

И он не просто бросился к телу и обнял его; он приник к нему; как улитка к стене; как пиявка к ране.

К счастью, Дороти этого не видела. Альфред взял руку Килкорана и с нежностью посмотрел ему в глаза. Вздвогнув, он быстро взглянул на Маргарет и молча вышел. Все это время Маргарет стояла неподвижно, обратившись в статую. Казалось, она неживая. Затем медленно, точно воскресая, она подошла к телу мужа и растегнула его жилет и рубашку. Меня ужаснул ее вид; она напомнила мне Медузу-Горгону. Даже золотые волосы представились мне свивающимися гадами. Она не произнесла ни слова. Выпрямившись, она снова застыла у тела мужа, прямо и недвижно. За это время я успела рассмотреть на его груди большой медальон на золотой цепочке. То был миниатюрный портрет молодого человека

¹ *Мертв (фр.)*

необычайной красоты. Я где-то уже видела это лицо. Но у меня не было времени на размышления; ибо внезапно Маргарет превратилась из статуи в фурию. Сорвав медальон с шеи мужа, она швырнула его в угол, бросилась туда и принялась топтать его.

Через миг ее лицо изменилось, она вернулась, опустилась на колени перед телом, вытащила носовой платок и тщательно отерла им то место на его груди, где был медальон, словно пытаясь уничтожить его следы. Со страстью, какой я от нее не ожидала, она покрыла поцелуями грудь и горло Килкорана. Поднявшись на ноги, она сказала мне спокойно:

— Доброй ночи, Элизабет. Боюсь, мы не сможем прийти к вам завтра на чай. Сибу, тебе пора спать.

Мальчик, приникши к телу отца, молчал. Маргарет повторила:

— Сибу, папа очень болен; ты пойдешь спать?

Ребенок ответил ей резко и коротко: «Нет!», его голос напоминал звучание басовой струны виолончели.

И тогда я поняла Маргарет, а она меня. Слова нам не понадобились. По ее взгляду я поняла, что она сейчас чувствует. Между нами определенно возникла телепатическая связь; потому что когда она, не сказав ни слова, вышла, я ничуть не удивилась появлению хозяина гостиницы, сообщившего, что он ничего не имеет против переустройства «салона для бесед» в комнату для прощания, или как он выразился, «*chapelle ardente*»¹, как будет угодно мадам и месье. После этого я осталась наедине с телом и онемевшим ребенком. Вскоре Маргарет вернулась в сопровождении Альфреда. Несмотря на все их увещевания, ребенок никак не желал отходить от тела отца. Он лишь кричал в ответ: «Нет! Нет! Нет! Нет!» Наконец, они удалились. Ушла и я, оставив тех двоих наедине.

Глава VII

Так «салон для бесед» превратился в «*chapelle ardente*». Тело Генри возложили на красиво задрапированный катафалк в окружении шести больших горящих свечей из небеленого воска. Ничто

¹ погребальная часовня (фр.)

не могло заставить ребенка отойти от тела отца. Спал он прямо на полу, почти ничего не ел и оставлял ровно половину своей еды рядом с катафалком. Иногда он что-то говорил мертвецу, а время от времени садился за фортепьяно, чтобы тихо поиграть любимые пьесы отца.

Однажды Альфред уговорил его выйти на свежий воздух. Он дал ему двадцать франков, и вскоре мальчик вернулся с венком из красивых орхидей. Конечно, венок стоил гораздо дороже. Но кто мог отказать ребенку? Килкорана хорошо знали в Остраке — особенно торговцы.

Потерял ли Сибу рассудок? Я так считала; сидя рядом с телом, он общался с ним, как с живым, так тихо, что никто не мог его слышать; играя любимые произведения отца, он время от времени оборачивался к покойнику, как будто искал его одобрения. Он не плакал и ничем не выражал своего горя.

Прежде я похвалилась своей наблюдательностью. Но следует признать, что Маргарет так и осталась для меня загадкой. Она могла просидеть почти весь день перед катафалком, читая молитвы. А ведь она никогда не производила впечатления религиозного человека. Религия для нее состояла из воскресных посещений *Messe des Paresseux*¹, куда они с Альфредом неизменно опаздывали, хотя церковь находилась неподалеку, тогда как Генри брал Сибу с собою в церковь ежедневно в утренние часы. После первого всплеска эмоций Маргарет сохраняла ледяное спокойствие. Но вот чего я совсем не понимала; увиденное мной убедило меня в ее искренней любви к мужу. Почему же тогда она предпочитала общество Альфреда? Не сказать было, что она любит его; она попросту держалась с ним слишком по-дружески. Я часто видела, как она по утрам, пренебрегая всеми *convenances*², входила в комнату Альфреда в наброшенном халате или пеньюаре, что казалось очень странным для женщины, придававшей своей внешности такое значение. И я ни разу не замечала, чтобы она входила в номер Килкорана, где спал также и Сибу, няня которого

¹ поздняя месса (фр.)

² приличия (фр.)

по причине ненадобности получила расчет. Они с Альфредом часто отлучались вместе. Оказалось, что они сделали все распоряжения насчет похорон: погребение должно было состояться в следующий четверг. А за день до того, войдя в комнату, чтобы присмотреть за ребенком, я услышала слова Альфреда:

— Наконец-то все улажено; через год мы встречаемся в Брюсселе и вступаем в брак.

Маргарет дала ему любопытный ответ:

— Да, я думаю, Генри бы это одобрил.

Однако в тот же день мне довелось услышать нечто большее.

Глава VIII

Вечером ко мне в номер пришла Маргарет. В руке ее был запечатанный конверт с надписью: «Для Элизабет, в случае моей смерти».

— Подождите, Элизабет, и послушайте, что я хочу сказать, — произнесла она. — Это письмо моего мужа к вам: думаю, я догадываюсь о его содержании. Но прежде, ради Бога, выслушайте мой рассказ.

Меня это удивило: я не ждала от нее подобной доверительности.

— Я должна выложить вам всю правду, — продолжала она. — Возможно, вы станете жалеть меня. Возможно, испытаете отвращение и презрение. Скорее всего, последнее.

— Не знаю, почему, — отвечала я, — но, скорее всего, именно жалость. Во всяком случае, вам стоит рассказать мне все.

— Перед тем, как начать, могу ли я задать вам один вопрос?

— Пожалуйста, — ответила я. — Столько, сколько вам будет угодно.

— Вопрос таков — ведь вы были замужем — любили ли вы вашего мужа?

— Нет, — ответила я, — в этом смысле нет. Определенно он *нравился* мне. Видите ли, я была очень молода, без семьи и средств к существованию, и попала под опеку невыносимой старой тетки; и я была только рада принять предложение первого мужчины, чтобы вырваться из этой неволи. Это оказалось не так уж и плохо, как

можно было ожидать. Однако страсть в моем браке отсутствовала напрочь, если вы именно это хотели знать.

— Что ж, — сказала она, — в моем браке страсть была. Поэтому вам не понять, как сильно я любила Генри.

— Человеку возможно понять то, через что он сам не проходил, — возразила я.

Ее глаза, цветом напоминавшие сапфир, внезапно приобрели переливчатый оттенок, который можно встретить лишь на Адриатическом море. Она продолжила:

— Старое выражение: «Я целовала землю, на которую ступала его нога» точно подходит к моему случаю. Все, чего бы он ни коснулся, становилось для меня реликвией. Я ревновала его к коту, к собаке — даже к стулу. — Она попыталась рассмеяться, но глаза ее наполнились слезами. — Чтобы не томить вас долгой историей, — продолжала она быстрее, собравшись с духом, — как-то мой муж поехал в Бельгию по делам: и они привели его сюда, в Остраке. Он вернулся в сопровождении юноши по имени Сибранд ван ден Вельден. Вам наверняка знакомо это имя, — быстро добавила она, продолжив с деланным равнодушием: — Тогда он уже подавал большие надежды в музыке, и многие прочили ему блестящую карьеру. — Она громко засмеялась, но смех прозвучал хрипло и жутко; слезы на глазах высохли. Смотреть на нее в этот миг было страшно. Приложив усилие и становясь прежней, она продолжила свою историю: — По словам Генри, тот совсем переутомился за своей учебой и поэтому был приглашен погостить в Килкоран. Должна сказать, что поначалу он мне понравился. Он прекрасно играл, был умен и довольно привлекателен. Но, как я уже говорила, моя ревность не знала границ. Если меня раздражало, когда Генри гладил кошку или собаку, то можете представить мои чувства, когда этот мальчишка буквально завладел всеми мыслями Генри. Я возненавидела его той тихой ненавистью, в которой таится сатана. Я захотела отомстить.

С едва уловимой, неприятной улыбкой она продолжала:

— У меня это получилось. Разве нет? Считается, что месть сладка. Едва ли последствия моей мести были сладки. — Она зло

рассмеялась. Ей потребовалась пауза, чтобы успокоиться, и она заговорила жестким сухим голосом: — Вы знаете, что женщина может сотворить с молодым впечатлительным мужчиной. А ведь в то время меня нельзя было назвать непривлекательной. — Да, «непривлекательной» в ту пору ее назвать определенно было нельзя; представляю, какова она была тогда. Голос ее стал еще жестче и суше: — Моей целью было, чтобы Генри обнаружил измену своего друга. Тогда он, возможно, убил бы его. Меня бы он убил тоже, но меня это не волновало. Я горела желанием быть пойманной *in flagrante delicto*¹, и, по крайней мере, я этого достигла.

— Генри сказал, — продолжала она без выражения, — «Что же, дорогая Маргарет, вы вольны поступать, как вам заблагорассудится. Вас же, Сибрандт, я попросил бы, когда вы приведете себя в порядок, зайти ко мне в кабинет». Я надеялась, что месть моя удалась: каково же было мое удивление, когда вечером я увидела Сибрандта за столом, как будто ничего не случилось. А пыл Генри к нему только возрос. Было ли это местью, измышленной его утонченным умом, — заставить меня увидеть воочию мой грех? Уж он-то знал, что я любила лишь его одного. Этого я так и не узнала. Моя месть пошла еще дальше. У Сибрандта было больное сердце. — Я удивилась, увидев румянец на ее бледном лице. — Вы жена врача, — с заминкой пояснила она, — и должны знать, что некоторые физические усилия могут оказаться смертельными. Как бы там ни было, — произнесла она с жутким истерическим смешком, — Сибрандт умер! — Мне показалось, что она вот-вот впадет в истерику — и приготовилась оказать ей помощь, насколько это позволяли мои медицинские познания; ведь в подобных обстоятельствах такая вещь может произойти самым естественным образом. Но нет, она спокойно и едва улыбаясь продолжала: — Полагаю, вы не понимаете, зачем я рассказываю вам все это. Милой эту историю не назовешь. Однако я уверена, что в письме говорится, что Генри — не отец Сибу, и что вы — единственная наследница поместья Килкоранов. Не знаю, что там сказано про меня. Не сомневаюсь, однако, что он оставил мне,

¹ на месте преступления (лат.)

сколько можно: и все же я решила, что вы должны узнать правду сначала от меня. Потерпите немного и позвольте мне закончить. Мы с Генри продолжали жить вместе. Он всегда по-доброму относился ко мне и не делал никаких намеков. Но мы перестали жить супружеской жизнью. Он предоставил мне делать все, что хотелось. Вы сами видели, он даже не возражал против моей связи с Альфредом. — Она засмеялась тем же ужасающим смехом: а затем, воздев руки, вскричала страдальчески:

— О, Генри!

Здесь не выдержали даже ее крепкие нервы, и она рухнула на пол в глубоком обмороке.

Глава IX

Вскрыв письмо Килкорана, я прочитала следующее:

«Моя дорогая Элизабет,

Я давно хотел открыться Вам, однако не находил в себе мужества. Мне известно, что Вы не верите в сверхъестественное, но в последнее время меня преследуют мысли о моей близкой смерти. Вчера вечером Вы назвали Сибу маленьким виконтом. Именно поэтому я и решился написать Вам. Возможно, мое предчувствие обманывает меня; тем не менее, элементарная честность побуждает меня сказать — он не мой сын. Это к *Вам* перейдет все мое наследство. Хотя бы из милосердия прошу Вас отнестись к ребенку с добротой. Сказать большее, Вы, с Вашей наблюдательностью, наверняка заметили, что он похож на Маргарет. О манерах здесь и речи нет, но разве суть в манерах? Помню, что недавно я настаивал на том, что суть не важна, важны манеры. Здесь манеры не важны, все дело в сути — для меня и для Вас.

Позвольте мне обойтись без дальнейших предисловий. Вы мой друг — и справедливости ради я должен подробнее рассказать Вам обо всем: менее всего Вы должны осуждать Маргарет, чья вина несоизмеримо меньше моей. Мне необходимо сделать позорное признание, но, как я уже сказал, Вы мой друг и не осудите меня строго — по крайней мере, слишком строго. Я боюсь, что

Вы возложите всю вину на Маргарет. Зачем я это пишу? Нет, не хочу начинать все заново. Оставляю все, как есть. Итак, продолжу, где остановился. Не вините ее. Вот пытаюсь объяснить, но никак не получается.

Я лучше изложу всю историю вкратце. Ибо, как сказано, Вы мой друг и моя двоюродная сестра. Было так: я приехал в Бельгию по делам жены и здесь, в Остраке, познакомился с Сибрандтом ван ден Вельденом, чье имя Вам знакомо, ибо недавно Вы упоминали его. Тут я подхожу к теме, в которой женщины ничего не понимают; конечно, это не относится к Вам. Ну и мешанина у меня выходит. Но примите ее со словами Понтия Пилата: «Что написал, то написал». По крайней мере (кажется, я уже неоднократно повторил эти три слова), попробую продолжить и просто пересказать всю историю. Но и тут необходимо сделать небольшое отступление. Я написал, что женщины этого не поймут, по крайней мере (повторюсь опять), я видел, как Вы были захвачены его музыкой — его божественной музыкой. Чего Вам не понять, это того, как я был захвачен его невероятной красотой. Волосы его завивались, как усики винограда, глаза его были фиолетовы, по-настоящему фиолетовы... Боже! К чему я занимаю Вас описанием его внешности. Завтра я напишу приличное письмо, а это пусть останется черновиком. Ну и вот (сохраню-ка я все, как есть), я взял Сибрандта с собой в Килкоран, о котором Вы слышали и которого еще не видели, хотя надеюсь, что скоро увидите.

Его все больше и больше влекла моя жена. Здесь начинается самая позорная часть.

Вместо вполне ожидаемого негодования я всячески поощрял их связь. У меня не было ребенка, а я его очень хотел. Сибрандт страдал болезнью сердца, от которой можно умереть в любой момент.

Я любил Сибрандта, любил больше своей жизни или даже его собственной, что я Вам еще попытаюсь объяснить. Никого еще я не любил так сильно, как Сибрандта. Меня постоянно мучила мысль, что Маргарет станет ревновать его ко мне, и поэтому был рад, что они сблизились друг с другом. И тогда у меня возникла порочная мысль.

А почему бы и нет?

Я уже, кажется, говорил, что у меня не было детей. Сибрандт мог умереть в любой миг. Отчего бы ему не породить сына, похожего на себя?

Я не виню Маргарет. Разве не естественно было привязаться к Сибрандту, никто не смог бы удержаться. Позвольте повторить, ее искушение было слишком велико. Я этому не удивляюсь.

В любом случае, результат налицо.

Мой ребенок! Да! *мой!* дитя пусть не тела, но души моей. Он похож на Сибрандта, и у него чудесные золотые локоны матери. Волосы Сибрандта были бронзового цвета.

Я чувствую близость смерти и поэтому рассказываю Вам все.

Извините меня за эту многословную чепуху. Мне хотелось разорвать это письмо. Но зачем бы я тогда писал его? Ведь я снова совершу все те же глупые ошибки, и я должен написать это письмо, ибо я знаю, что бы Вы ни говорили о предчувствиях, — я умру в ближайшие два дня.

Элизабет, будьте добры к бедному маленькому Сибу. Не отвергайте его, хотя он и так отверженный. По крайней мере, это не его вина. Вы были добры к нему, и я верю Вам. Дозвольте моему ребенку — повторяю, *моему* — быть под Вашей защитой; оградите моего — повторяю, моего единственного ребенка — от всякого зла.

Вам не знакомы католические молитвы, но, возможно, в Вашей службе тоже используют эти строки из Псалтири: «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою»¹.

Элизабет!

Разумеется, Вы не станете молиться за меня после моей смерти. Ваша религия не признает молитвы за упокой души. Возможно, помолится Маргарет.

Я рассказал Вам все, что должен был рассказать.

(Подпись)
КИЛКОРАН»

Постыдные признания возмутили меня до глубины души. И с *такими* людьми я жила бок о бок и поддерживала дружеские отношения. Мне тут же захотелось пойти и провести ребенка, которого я отныне считала своим подопечным. Он спал на полу, его рука лежала на руке отца (теперь-то я знала, что он не был его отцом: но ведь он сам пребывал в неведении, и разве нужно было разубеждать его невинные представления?)

Так он и лежал, и при свете свечей, стоявших подле гроба, его длинные ресницы бросали тень на щеки.

Я протестантка и практичная женщина: настолько практичная, что сразу подумала, что он легко может сбить во сне один из подсвечников и устроить пожар в гостинице. Но то была мимолетная мысль. Клянусь, если бы какой-то художник рисовал образ спящего младенца-Иисуса, он не нашел бы лучшей модели. И это дитя я должна была лишиться наследства.

Нет, никогда!

Ему незачем было знать о том, что я одна и знала.

Однако я не могла отдать его под опеку женщины вроде Маргарет. Тем более, что письмо Килкорана наделяло меня в этом смысле определенными полномочиями.

Глава X

Похороны состоялись на следующий день.

Чтобы немного отвлечься, я совершила прогулку по городу. Первым, что мне попало на глаза, было объявление о смерти Килкорана — нелепый панегирик о достоинствах покойного и его заслугах перед большим, важным городом Остраке. Я не была настроена юмористически, скорее саркастически. Статья заканчивалась так:

«Торжественная панихида состоится завтра в церкви Нотр-Дам: нам доподлинно известно, что оркестром в полном составе будет исполнен «Реквием» нашего прославленного соотечественника (или как он был там назван, «citoyen») Сибрандта ван ден Вельдена. Партию первой скрипки будет играть синьор Сарини

(кажется, так), в связи с чем рекомендуем любителям музыки посетить указанное мероприятие, даже если они не являются друзьями покойного. Погребение назначено на четверть двенадцатого».

Каким образом здесь вновь оказался Сибрандт ван ден Вельден? Довольно несчастий от него было при жизни. Почему же на погребении Килкорана опять навязывают его музыку?

Из похоронного бюро прибыли *croquemorts*¹. Мальчик по-прежнему не отходил от тела. Альфред положил руку ему на плечо и очень ласково, хотя и с толикой цинизма, которую я всегда ненавидела в его манере говорить, произнес:

— Малыш, они пришли забрать папу. Теперь твоим папой буду я.

— Нет, нет, нет, нет! — прижимаясь к телу, вскрикнул мальчик.

Тогда Маргарет, выглядевшая неестественно спокойной, если учесть всплеск эмоций ночью, сказала:

— Сибу, дорогой, папу должны похоронить, и мы вернемся в Ирландию.

Внезапно ребенок оторвался от отца, подбежал ко мне, обвил меня руками и со слезами на глазах взмолился:

— Тетя Элизабет, ведь вы не дадите им увезти меня? Вы ведь позаботитесь обо мне?

Должна сказать, я не верю в сверхъестественные явления и тому подобное, но в тот момент меня не могло не поразить совпадение последней просьбы Килкорана, прочитанное прошлой ночью, с просьбой мальчика.

— Да, мой дорогой, — в порыве чувств ответила я, — я позабочусь о тебе.

И посмотрела на Маргарет, которая бесстрастно произнесла:

— Мне кажется, Элизабет, если вы не против, так будет лучше всего.

Я сказала, что опасалась за рассудок ребенка. Сейчас он вел себя разумно и все полностью осознавал.

¹ Факельщики, служащие похоронного бюро (фр.)

Сроquemorts забрали тело, и мы отправились в церковь. Сибу держал меня за руку. Маргарет казалась противоположностью Галатеи, словно обратившись в статую. Ее бледная кожа, оттененная траурным платьем, напоминала мрамор.

Затем был «Реквием».

Сама церемония, без сомнения впечатляющая для тех, кто в этом разбирается, для меня не имела никакого смысла: но музыка — определенно я была несправедлива к Сибрандту ван ден Вельдену, отозвавшись о нем как о просто неплохом композиторе — это его произведение было восхитительно. Это было откровение! Каким же гением он был и мог бы быть, если бы — нет, кровь закипает в моих жилах при мысли о том, что человек с такими изумительными способностями был Парисом для развратной женщины и Антиноем для распутного мужчины.

Музыка очень взволновала Сибу, особенно вначале. Глаза его загорелись при звуках того, что, кажется, называется Жертвоприношением. Особенно мне запомнились слова: «*Libera eas de ore leonis*»¹, которые исполнял высокий скорбный дискант в сопровождении серии нисходящих хроматических гамм, что завершилось одной долгой, низкой вибрирующей нотой словно бы виолончели — хотя на самом деле это плакала первая скрипка. Описать невозможно — ибо невозможно передать словами музыку, — почему при прослушивании у меня возник образ змеевидно переплетенной хроматической гаммы, напоминающей монограмму? Но такие ощущения достойны запечатления, ибо только так и можно передать взаимодействие различных искусств. И эта торжественность хоровых серебряных труб. Я была настолько поглощена музыкой, что упустила момент, когда ребенок потерял к ней интерес. На лице его появилось туповатое, равнодушное выражение, и чуть позже, когда похоронный кортеж двинулся к кладбищу, он погрузился в полнейшую апатию, тогда как я ожидала и боялась бурного проявления чувств. Он молча позволил отвести себя за руку на кладбище и обратно в гостиницу. Там он опустился на стул и

¹ «Освободи их от пасти льва» (лат.) Жертвоприношение (*Offertorium*) — одна из частей реквиема.

застыл. Маргарет и Альфред куда-то исчезли. Я думала, они следуют за нами. Необычное поведение ребенка настолько отвлекло меня, что я совершенно, забыла о них.

Они пропали бесследно. Я ожидала, что Маргарет хотя бы придет посмотреть на ребенка. И, конечно, не была особенно удивлена, когда она не появилась и за ужином.

Очевидно, горе придавило ее. После некоторых колебаний я решила подняться в ее комнату и спросить, нужна ли моя помощь. Хотя ее ночное признание вызвало у меня к ней отвращение, как Маргарет и предполагала, все же я испытывала к ней огромную жалость. И у меня было время для размышлений.

Подойдя к ее двери, я тихо постучала; потом громче и, наконец, отворила дверь. Внутри было темно и не было ни души. В коридоре появилась горничная.

— Мадам упаковала вещи и уехала в Брюссель четырехчасовым поездом, — сообщила она. — А месье уехал в другом направлении двумя часами раньше, не знаю, куда именно. — Вспомнив что-то, она достала из передника конверт: — Мадам la Comtesse¹ просила передать вам письмо.

Глава XI

Вот что говорилось в письме:

«Моя дорогая Элизабет,

После того, что произошло между нами, Вы наверняка поймете, почему я избегаю устных объяснений.

Вы обещали позаботиться о моем ребенке, и я знаю, что Вы сдержите ваше слово. Я еду в Ирландию уладить оставшиеся после мужа дела. Покуда это не сделано, я не смогу сказать, какая сумма Вам причитается. До прояснения всех обстоятельств я буду посылать Вам ежемесячно по двести фунтов и прошу в ответ хотя бы парой строк на почтовой открытке извещать меня о здоровье и состоянии моего ребенка. Возможно, Вы не откажетесь время от времени писать мне.

¹ Графиня (фр.)

P.S. Мой адрес: замок Килкоран, Голуэй, Ирландия.

Ваша

Маргарет Килкоран».

И как прикажете отнестись к такому письму, особенно после того, что случилось? Я дважды переписывала ответ, оставив его без приветствия:

«Вы что же, полагаете, что я возьму хотя бы грош из ваших денег? Я не нуждаюсь и не вижу никакой причины сообщать ребенку о том, что он не является наследником поместья Килкоранов.

Полагаю, вы никому больше не раскрыли своих постыдных тайн. Обещаю, однако, каждую неделю извещать вас о здоровье ребенка. Сейчас, к моему сожалению, выглядит он неважно. Надеюсь, что в следующем письме смогу дать вам более благоприятный отчет.

Элизабет Рэнделл».

Глава XII

Постепенно мне открылась пугающая истина — ребенок лишился рассудка. В какой-то миг — наверное, во время «Реквиема» — разум покинул его. Он остался послушен и благонравен, но погрузился в полную апатию. Его чудесные глаза утратили блеск. Он все время молчал, лишь иногда бормотал что-то себе под нос и только после долгих уговоров соглашался поест.

Как же болело мое сердце за это дитя! Подумать только, что в ковчеге его прекрасного тела больше не обитает душа. По крайней мере, так казалось. Иногда он реагировал на ласки; особенно если гладили его прекрасные золотистые волосы, мягкие, завивающиеся на кончиках, с налетом серебра, — самые чудесные волосы, которые я когда-либо видела.

Тогда он довольно улыбался, изредка невнятно бормоча, словно курлычущий во сне голубь. Так его ласкал Килкоран. Вероятно, мальчик вспоминал его. Хотя вряд ли он что-то помнил. Тем не менее, ему хватало ума вести себя достойно в быту и прекрасно

ориентироваться в пространстве. Он никогда не путал комнаты. Просто он был апатичен; он мог часами сидеть в одной позе, но позволял отвести себя в прогулку по городу и ближайшим окрестностям; ходил он прямо и уверенно, но ни к чему не проявлял интереса. Все время приходилось присматривать, чтобы его не переехал автомобиль. Однажды это едва не случилось. Моя дочь лишь на мгновение отпустила его руку, и его чуть не сбило несущееся на полной скорости такси. Любопытно, но при его абсолютной апатии, едва мы проходили мимо церкви, он каждый раз тянул меня туда, а внутри автоматически зачерпывал святой воды и обязательно преклонял колени перед алтарем. Иногда он садился, иногда становился на колени, — всегда с полным безразличием. Наверное, он мог бы стоять так сутками.

Но после консультации с лучшим специалистом в Бельгии у меня появилась надежда, что звуки музыки могут пробудить в Сибу разум. Поэтому я часто водила его в церковь, особенно на воскресные послеобеденные службы, когда музыкальное сопровождение было воистину прекрасным. Но он совершенно утратил свое чувство музыки. Все же я не теряла надежды, ибо однажды, когда скрипка играла интерлюдия к «Salut», или «Благословиению», как его называют в Ирландии и Англии, тень улыбки мелькнула на его лице.

Но это был временный эффект.

Глава XIII

Однако я не отчаивалась.

Оказалось, что Маргарет распорядилась о торжественной службе в память годовщины смерти Килкорана. В своих письмах (мы по-прежнему обменивались скучными посланиями) она не сообщала, будет ли сама присутствовать на ней. Но меня осенила мысль: а вдруг звуки «Реквиема» вернут Сибу рассудок? Тем более что газеты сообщили, что во время богослужения будет исполняться та же самая вещь Сибрандта ван ден Вельдена, что и в прошлый раз. Только на этот раз заметку разместили в театральной рубрике.

И я отправилась с Сибу в церковь.

Ребенок был, как всегда, апатичен; но когда исполняли Жертвоприношение, на этот раз чрезвычайно скверно, по телу его пробежала дрожь. Сосредоточенно глядя перед собой, он преклонил колени, но неподвижный взгляд его убедил меня в том, что воздействие музыки опять временно.

Когда «Реквием» закончился, я взяла его за руку, чтобы вывести из церкви. Каково же было мое удивление, когда он крепко схватился за нее. Еще больше я удивилась, когда на обратном пути он засмеялся и заговорил, как ни в чем не бывало. Он походил на воскресшего из мертвых.

Когда мы вернулись в гостиницу, он помчался в салон и открыл крышку фортепьяно, на котором уже год не играл, — здесь могу сказать, что мы с дочерью неплохо владеем инструментом, но после описанных ужасных событий не осмеливались прикоснуться к нему; хотя меня часто посещала мысль, что игра на фортепьяно могла бы пробудить Сибу от жуткой летаргии. Так вот, мальчик открыл крышку фортепьяно и заиграл, да еще подпевая дивным дискантом. До этого я никогда не слышала, чтобы он пел.

Боже, но что он играл! То была тема «*Libera eas de ore leonis*» из «Реквиема». И на этом жалком, расстроенном инструменте ему удавалось создать эффект целого оркестра. Мне казалось, что я слышу виолончель и серебряные трубы!

А как он пел! Дойдя до этой каденции, слова которой запомнились мне накрепко: «*Fac eas Domine Deus de morte transire ad vitam*»¹, его голос издал странное низкое тремоло на слове «*morte*» и угас, после странного хроматического пассажа, на слове «*transire*» (любопытно, как подробно вспоминаются детали тех событий, которые затронули нас до глубины души). Как ему удавалось так петь? Я никогда не слышала, что он поет, за исключением тех случаев, когда он напевал что-то себе под нос. Но здесь он исполнял одно из самых сложных музыкальных произведений. Помню, мне пришла в голову довольно тривиальная мысль,

¹ «Сделай, Господи, так, чтобы от смерти они перешли к жизни» (лат.)

как долго должен обучаться хорист такой сложной интонации. А этому ребенку удалось исполнить эту вещь с первого же раза, и куда как лучше! всего лишь после одного, ну двух прослушиваний. Все это пришло мне в голову прямо тогда, ибо позже у меня уже не оставалось времени для рассуждений.

Мотив заканчивается на слове «*vitam*», подвешенном к долгой, высокой «си». Не могу описать изысканность интонации, которую он придал этой ноте, обычно слишком пронзительной. Она казалась немного затянутой; затем голос его задрожал; и вслед за этим раздался грохот.

Сибу упал со стула на пол.

Да, я догадалась тотчас же: мне не требовался доктор, чтобы констатировать «внезапную остановку сердца».

Открылась дверь, и кто бы еще мог войти в комнату, как не Маргарет?

Достаточно сказать, что в тот день, в тот самый день, что и ровно год назад, салон опять был убран под «*chapelle ardente*».

Альфред тоже присутствовал там вместе с Маргарет. На третий день явились *scoquemorts* и забрали тело. Но прежде чем они ушли, Альфред и Маргарет встали по бокам гроба, где лежал этот чудесный ребенок, который словно спал и видел райские сны. Они сплели руки над телом мальчика и застыли в этой позе, безмолвно глядя друг на друга.

Затем Альфред уехал. Я больше не видела его, а Маргарет говорила мало, только самое необходимое. Мы расстались в молчании.

ЭПИЛОГ

Как-то несколько лет спустя, когда мы с дочерью находились в Лондоне, Дороти сообщила мне:

— Камилла сказала, — Камилла была ее подругой, — что сегодня после обеда в церкви *** будет исполняться «Романс» для

скрипки Сибрандта ван ден Вельдена. Помните, мама, его исполняли на концерте в том забавном местечке, Остраке? Вы должны его помнить.

Уж я-то помнила!

— Давайте сходим туда и еще раз послушаем, — продолжала Дороти, и я подумала: «А почему бы и нет?», хотя знала, что едва ли при этом во мне проснутся приятные воспоминания.

Случайные совпадения происходят чаще, чем об этом принято думать. Двукратные совпадения настолько распространены, что люди замечают их только тогда, когда это сопряжено с каким-то памятным событием.

Троекратные совпадения происходят реже. Но по закону случая они куда более вероятны, чем об этом принято думать.

Таким-то образом я пытаюсь объяснить то, что последовало за этим. Мне припомнилось множество споров с Килкораном о влиянии сверхъестественного на человеческую жизнь. Он всегда настаивал на его существовании, а я это настойчиво отвергала.

Церковь, о которой идет речь, была католической, принадлежала какому-то ордену и была довольно известна своими оперными концертами. Туда мы и отправились.

У дверей висело объявление о том, что в этот день состоится скрипичный концерт синьора такого-то; а рядом — многословная болтовня о каких-то приютах святой Пелагеи, в чью пользу намечался сбор пожертвований.

Мы вошли во время вечерни. Ее сопровождали однотонные распевы вкупе с органом. Мало разбираясь в происходящем, я подумала, что мы опоздали на концерт и что знаменитый синьор доигрывает «Романс» для скрипки Сибрандта ван ден Вельдена. Однако дочь, разбирающаяся в таких вещах куда лучше (я всегда подозревала ее в симпатиях к католицизму, против чего, правда, совсем не возражаю), произнесла:

— Подождите, мама, мы пришли слишком рано, нам надо бы придти попозже.

После окончания вечерни и ектеньи, на удивление монотонной, на кафедру взошел монах и начал проповедь на тему: «Не

судите, да не судимы будете». Он говорил от имени приютов святой Пелагеи; по крайней мере, его проповедь в основном была посвящена им. Голос его пробудил во мне какие-то воспоминания. Я где-то уже слышала его, хотя тон был иным.

Ну разве могло такое произойти? Это исхудавшее аскетическое лицо — Альфред Этенри! Чем дольше я всматривалась в него, тем больше убеждалась в своей догадке. Те же четкие, оригинальные черты. Я терялась в сомнениях до тех пор, пока он не заговорил о современной научной мысли, и на лице его появилась та самая циничная усмешка, что вызывала во мне такую неприязнь несколько лет назад. После проповеди, в качестве интерлюдии перед благословением — как подробно объяснила мне дочь, — монахини ордена святой Пелагеи в своих длинных, подбитых красным одеждах, которые так им шли, вынесли тарелки для сбора пожертвований. Их передавали от одного места к другому с небольшим опозданием; я этого не замечала; мое внимание было всецело поглощено «Романсом» для скрипки Сибрандта ван ден Вельдена. Монахиня, подставившая мне тарелку, заметно волновалась. Рука ее дрожала. Кладя в тарелку монету, я подняла глаза к ее лицу и — передо мной стояла Маргарет!

После был впечатляющий обряд благословения, потом священник прочитал несколько молитв по-английски, и последними его словами были:

«И души усопших по милосердию Твоему да почивают в мире».

МИРАНДОЛА

Этюд о болезненной патологии
Повествование сэра Джозефа Рэнделла,
доктора медицины

Для начала стодится и упоминание о том, что я — врач. Я считаюсь авторитетом в своей области. Специализация моя — мозг. В связи с этим у меня выработалась привычка внимательнейшим образом наблюдать за всем, особенно за тем, что представляется нам странным или ненормальным.

Я подумываю о том, чтобы описать несколько любопытных патологических случаев, которые доводилось мне наблюдать и которые могут после моей смерти принести специалистам определенную пользу. Вот вам первый случай.

Как-то раз я ехал в омнибусе; я предпочитаю омнибус докторской одноконной карете, поскольку в омнибусе представляется гораздо больше возможностей для наблюдений за людьми и событиями. Тогда я только избавился от большинства своих пациентов, отослав их в Гомбург и подобные же места. В другом конце омнибуса сидела девушка, которая на первый взгляд была слишком неприметна, чтобы привлечь чье-нибудь внимание. Но по какой-то причине я с первого же взгляда заинтересовался ею.

Некрасивая, она была одета — на мой взгляд, довольно безвкусно — в простое черное платье. В руках ее был черный ридикюль самого обыкновенного вида. Ее можно было бы принять за служанку, отправленную хозяйкой за покупками. Но шляпка ее не имела ни малейшего намека на кокетство — не было даже черного пера: что заставило меня отказаться от первоначального мнения, что она служанка. Взглянув на нее пристальнее, я понял, что передо мною дама. Несмотря на простоту наряда, в ней чувствовалась безусловная утонченность: и рука, которую я мог с моего места разглядеть, была по-настоящему красива и ухожена. Чем бы она ни занималась, ручной труд не был ее заработком.

Я уже говорил, что она не была хороша собой: большой чувственный рот, неправильный профиль, светлые выющиеся волосы, постриженные коротко, по-мальчишечьи. Даже дурно скроенное платье не могло скрыть ее изящной фигуры. Но и в ней также было что-то мальчишеское. В самом деле, в ее облике не было ни малейшего намека на пол. То, что поразило меня больше всего, была ее бледность: не анемическая бескровность, а бледность страсти.

Я взял себе за привычку, встречаясь с новыми людьми, выделять в их лицах ту или иную черту, которая характеризует их наилучшим образом, так что ее лицо я занес в раздел «чрезмерно страстное» своей мысленной записной книжки. Но я сказал, что эта страсть, должно быть, была особой. Глаза у нее были большие, с прозеленью, брови и ресницы темнее волос. Они придавали ее лицу выражение постоянной грусти, смешанной с призывным томлением, которое тронуло мое сердце. Во мне всколыхнулась жалость. И в то же время у меня возник вопрос: «Достойна ли она твоей жалости?» Я настолько развил свою наблюдательность, что часто по одной лишь внешности могу определить причину людских горестей: например, мне не составляет труда отличить потерявшую ребенка мать от женщины, которую оставил муж или любовник: или сказать, что этот скатился от богатства к бедности, а тот — с вершин преуспевания к упадку.

Но для выражения ее лица я нашел только одно краткое слово — «странное».

Кондуктор подошел к ней с требованием оплатить проезд.

— У вас найдется сдача? — спросила она его тихим, волнующе трепетным голосом.

Когда она вытаскивала из кармана кошельки, я заметил ее левую руку. На безымянном пальце было кольцо — единственное: с рубином необыкновенного, особенного блеска, по странности оправленным в серебро.

Я считаю себя знатоком драгоценных камней: и клянусь, что рубин был настоящим — и не только настоящим, а того вида, который можно найти только в Сибири. Вопрос, отчего она носит

столь ценное кольцо и при этом одета так убого, меня сильно озадачил.

Второй раз я увидел ее при совершенно иных обстоятельствах.

Французская труппа давала «Арлезианку», эту странную драму Альфонса Доде, в чудесном, так мало известном музыкальном сопровождении Бизе. Труппа была исключительно хороша: она состояла из величайших театральных звезд. Но гвоздем представления должно было быть выступление в главной роли Жирандолы, прославленной танцовщицы, по которой все люди — вернее, люди, близкие к театру — сходили с ума.

Главная роль была небольшой. Арлезианка не произносит ни слова, появляясь на сцене всего два раза лишь для того, чтобы станцевать. Но смогу ли я описать это?

Прежде я не придавал значения танцу. Она не танцевала, она плыла по сцене. В каждом ее движении была головокружительная поэзия. Не удивительно, что главный герой отказался ради нее от своей невесты! Кто бы поступил иначе? И не мудрено, что при ее втором появлении двое мужчин сходятся в смертельном поединке!

Публика восторженно аплодировала. Право — была ли это галлюцинация? Когда она, еще дрожа, замерла для поклона на краю авансцены, мне показалось, что я вижу лицо девушки из омнибуса. Я бы ни с кем не спутал это лицо. В танце она была вдохновенно-прекрасна: конечно, на ней был грим и парик. Догадка моя перешла в уверенность, когда луч света выхватил ее руку, на которой был тот самый оправленный в серебро рубин. На ней не было других драгоценностей — только этот рубин. И она показалась мне еще более таинственной, чем прежде.

Обстоятельства нашей третьей встречи были уже другими. Я был в отпуске — сказать по чести, вполне заслуженном отпуске — в Вене, где большую часть времени жил у моего друга, профессора Ковача. Говоря «большая часть времени», я имею в виду, что у меня был номер в гостинице, но обедал я у моего друга.

В тот день доктор Ковач должен был осмотреть одного больного в клинике, лечившей болезни горла, — они были его *spécialité*¹: однако мы договорились сходить вечером в оперу, где шел балет «Смерть Клеопатры» с Жирандолой в главной роли.

Я рассказывал моему другу о Жирандоле и настоял на том, чтобы он сходил посмотреть на нее. Так что обедал я в тот день в гостинице за табльдотом — по австрийскому обычаю — в середине дня.

И кого же я увидел напротив, на другом конце стола — точно как в омнибусе, — как не саму Жирандолу! И на этот раз она была одета в черное платье: однако не без элегантности: дымчатая кружевная оборка вокруг шеи придавала ее лицу пикантность, и мне даже подумалось, что она была бы куда краше, если бы улыбалась. Но на бледном лице ее все так же застыла неискоренимая печаль — печаль не врожденная, а вызванная какой-то особенной причиной; на лице этом просто не было места улыбке — и это тоскливое, призывное выражение, точно у побитой собаки.

Она ни с кем не заговаривала. Более того, она намеренно села так, чтобы от ближайшего соседа ее отделяли два стула. Она почти не ела: но для женщины выпила более чем достаточно. Иногда она взглядывала на меня — пристально, но застенчиво.

Когда я встал из-за стола и направился в курительную, кто-то коснулся моего плеча.

— Могу ли я поговорить с вами? — спросил низкий, волнуемый голос.

Я повернулся. Передо мной стояла Жирандола. С легким румянцем смущения и немного заикаясь, она пояснила:

— Мне хотелось бы получить профессиональную консультацию.

— Я не имею права практиковать в этой стране, — ответил я.

— О, да, мне это известно, — быстро сказала она. — Но вы англичанин, а я не сильна в немецком. — На лице ее мелькнула тень улыбки, которая открыла ее мне с новой стороны. Если она может

¹ специальность (фр.)

так улыбаться, то определенно должна обладать развитым чувством юмора. Это был отблеск ее былых счастливых дней — и вновь на лицо ее легла привычная печаль. — Вам я смогу лучше объяснить, в чем дело.

— В таком случае, — произнес я, — если вас не затруднит, попрошу вас в мой номер. Разумеется, консультация будет бесплатной.

Не говоря ни слова, она последовала за мной. В номере она, не сядя, проговорила быстро и монотонно, словно ребенок, повторяющий выученный урок:

— Мне лучше быть честной с самого начала. К несчастью, у меня выработалась привычка к морфию. По дороге сюда пузырек с морфием и шприц для подкожных впрыскиваний разбились в саквояже. А здесь, в Австрии, аптекари ни при каких условиях не выдают лекарств без рецептов; пересланный же мне морфий задержала таможня, и вряд ли я его получу. Таможенник сказал, — тут она рассмеялась, — что если бы сам Бог обратился к ним с такой просьбой, Он не получил бы в Австрии наркотик.

Она продолжила с заметным оживлением:

— Я не прошу вас потворствовать моему пороку. Вы, разумеется, не знаете, кто я. Я та, кого зовут Жирандола, танцовщица, и выступаю сегодня вечером в Опере. Без морфия мне лучше не выходить на сцену. А поскольку мы ожидаем приезда кронпринца, я не смогу сослаться на недомогание — тем более, что у меня нет дублерши. Все, о чем я прошу вас, — доза морфия на этот вечер и рецепт на шприц.

Так ее секрет был настолько банален? Нет, подумал я: определенно нет.

По долгу своей *spécialité* мне приходилось иметь дело и с морфинистами. Однако Жирандола не походила на хроническую морфинистку. Правда, она выказывала признаки истерии и, вполне возможно, изредка употребляла морфий.

— Сударыня, — сказал я ей, — я понимаю всю каверзность положения, в котором вы оказались. Посему на первый раз я выпишу вам рецепт, дам подписать его одному венскому врачу и

пошлю рецепт в аптеку «Zum Bären»¹, где, предъявив мою карточку и сказав, за чем вы пришли, — аптекарь говорит по-английски — вы сможете получить нужное вам сегодня, где-то в четыре-пять часов вечера. Но взамен вы должны обещать прийти ко мне завтра и выслушать небольшую лекцию о морфии.

— Спасибо вам! — горячо произнесла она, улыбнувшись. — Я обещаю прийти, если... если буду жива, — добавила она со смешком. Положив на стол конверт, она быстро удалилась, не назвав ни имени, ни адреса.

Внутри оказалась сотня гульденов — довольно большой гонорар для Австрии, где врачи хороши и недороги. Я вышел вслед за ней, желая вернуть ей конверт, но не смог отыскать ее и решил подождать до завтрашнего дня.

Ковач немного припоздал. Мы успели лишь ко второму акту оперы, что, впрочем, было не важно, поскольку нас интересовал балет. Опера была в трех действиях и особыми достоинствами не отличалась. Мы устроились в партере. В ложе у авансцены с правой стороны сидела, вернее, блистала наиболее красивая и царственная женщина, которую я когда-либо видел. Со снисходительной улыбкой она взидала на игру актеров — и особенно актрис — с выражением знатока и ценителя, чье одобрение равносильно успеху.

Какое восхитительное создание! Темноволосая, с идеальным классическим профилем и огромными глазами под томно опущенными веками. Волосы были уложены по классической моде; платье отличалось дерзкой простотой: и она явно не носила корсет. Впрочем, с ее великолепным бюстом, словно у Венеры Милосской, к чему ей корсет? На ней было простое платье в греческом стиле, сшитое из белой тонкой мягкой материи и окаймленное серебром в виде диагонального узора. Серебро было усыпано жемчугом, и небольшими рубинами, и бирюзой. На шее сверкало алмазное ожерелье, застежкой которому служил огромный рубин небывалого и особенного блеска: фактически он был

¹ «К медведям» (нем.)

точной копией, хотя большей по размерам, того рубина, который я видел на руке Жирандолы и который мне вскоре предстояло увидеть вновь.

В конце второго акта Ковач встал и церемонно раскланялся с дамой в ложе; она ответила ему кивком. И сколько же томной грации было в каждой ее позе, в каждом жесте!

— Вы знакомы с ней? — спросил я. — Кто она?

— Разве вы не знаете? — сказал он. — Это герцогиня де Морлей, более известная под именем Кальяри. Уверен, вы слышали о ней, — знаменитое контральто. Мое знакомство с ней носит профессиональный характер. Она любезно разрешила мне осмотреть ее гортань и сделать несколько диаграмм: я хотел понять причины, по которым на свет рождается столь великолепный голос. Сколь много вы потеряли, если не слышали ее! Нынче она больше не поет на сцене: ведь это ниже достоинства герцогини: правда, изредка она дает домашние концерты. Она очень изменилась после замужества. Видите за ее спиной того junger Geck¹ с моноклем? Это ее супруг, герцог, миллионер. Она, похоже, не особенно его ценит, правда?

— Разумеется, я слышал о ней, — ответил я, — и всегда мечтал ее послушать. Но, к сожалению, по понятным причинам я обычно занят во время сезона Лондонской оперы.

Тем временем начался третий акт.

Я не мог оторвать от нее глаз, позабыв об опере. Хотя на лице ее не было злобы или жестокости, одни и те же слова отчего-то звучали внутри меня, как литания: «Ave! Faustina Imperatrix, morituri te salutant»².

В конце третьего акта герцогиня повернулась к мужу. Он спросил, по-видимому: «Мы уходим или остаемся?», и она, по-видимому, ответила: «Дай заглянуть в программку — стоит ли оставаться».

Очевидно, они абонировали ложу на сезон и приезжали на спектакли по желанию, не интересуясь заранее тем, что шло.

¹ Здесь — «хлыщ» (нем.)

² Радуйся, императрица Фаустина, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.)

Герцог передал ей программку. Со слабой, то ли сатирической, то ли добродушной усмешкой на божественных губах она заглянула в нее.

И внезапно едва заметно вздрогнула. На ее мраморных щеках появился румянец. Она повернула голову и бросила на мужа быстрый взгляд.

Он вышел из ложи и сейчас вернулся с полным бокалом шампанского, который она осушила одним глотком. После этого она успокоилась. Однако глаза ее уже не были сонными, в них появился интерес: вернее, даже болезненный интерес, насколько ее черты могли выражать боль.

Как бы там ни было, она решила остаться.

Несмотря на мои превосходные впечатления о таланте Жирандолы, я считал, что такой персонаж, как Клеопатра, менее всего подходит для нее. В этой роли гораздо лучше выглядела бы царственная женщина в ложе. И потом, невозможно помыслить Клеопатру в танце; хотя Теофиль Готье представил ее именно танцующей. Впрочем, неизвестно, как представит ее Жирандола. Музыка, во всяком случае, обещала быть интересной, ее написал молодой бельгийский композитор, так неожиданно умерший; кажется, звали его Сибрандт ван ден Вельден, в Бельгии его, по словам моей супруги, просто боготворили. В таких вопросах я обычно ей полностью доверяю.

Как видите, у меня было несколько причин для интереса.

Прозвучали первые такты. Музыка и впрямь оказалась превосходной.

Цыгане называют себя выходцами из Египта. Я считаю, что существуют противоположные доказательства. И все же они могли заимствовать свою музыку у египтян. Ведь мы не знаем, на что походили древние эллинские напевы. Врядли они, судя по воздействию на слушателей, имели отношение к византийской музыке с горы Афон и ее древних монастырей: особенно потому, что они всегда сопровождались аккомпанементом на струнных инструментах. Сдается мне, слияние греческой и семитской музыки времен Клеопатры чем-то напоминало цыганские мотивы наших дней.

Музыка этого балета, при всей своей мягкости и современности звучания, давала вполне достойное впечатление о том, на что могли походить мелодии древнего Египта. Балет начинался с пляски танцовщиц. Появилась Клеопатра, возлежавшая на корме ладьи. Декорации, надо сказать, были безупречны.

Там, в ладье, была моя знакомая, в чьей томной, чувственной позе было что-то от женщины, сидящей в ложе. Мне даже показалось, что подражание было намеренным. Во всяком случае, она выглядела превосходно в роли Клеопатры — гораздо лучше, чем я мог предположить.

Затем она спустилась на сцену и начала танцевать. Лицо ее вновь озарилось экстазом и стало прекрасным. Все, что есть волнующего и сладострастного, было в ее танце. Неудивительно, что сильные мира сего по собственной воле становились ее рабами. И в то же время танец состоял всего из нескольких па. Я не в силах описать его. Она буквально танцевала музыку. Казалось, что если бы не было музыкального сопровождения, мелодия полилась бы сама собой из каких-то неведомых пределов. Хотя она играла царицу Египта, отсутствие на ней драгоценностей было в своем роде замечательно. Исключением было уже знакомое мне кольцо с рубином. Но самое замечательное заключалось в том, что во время танца она не отрывала призывного, укоризненного взгляда от прекрасной женщины в ложе.

Вызванным ею неистовым аплодисментам она даже не улыбнулась, продолжая смотреть вверх.

Герцог де Морлей отпустил какое-то замечание жене: та, не обращая внимания на его слова, оставалась абсолютно неподвижной.

Я пропущу подробности спектакля и сразу перейду к финальной сцене: самоубийству Клеопатры от укуса змеи, а именно — люди обычно этого не знают — большой египетской кобры. Выглядела змея довольно натурально. Даже я, будучи неплохим зоологом, поначалу принял ее за живую. Однако расцветка ее была слишком яркой.

И, наконец, начался Танец смерти. Она ласкала змею и с неописуемым изяществом заставляла ее плавно скользить вокруг себя,

словно сливаясь с ней воедино. Некоторые зрители побледнели от необъяснимого страха. Прекрасная Кальяри обратилась в мрамор. Ни один мускул ее не дрогнул: ее глаза были словно глазами статуи.

Тем временем танец становился все изумительнее: мольба о жизни, восстание против рока, ужас смерти, один, последний, вздох — и вот уже усталость от жизни, радость встречи со смертью, этим долгожданным женихом, затем — величественное достоинство смерти, ужасающей и таинственной, чьими святынями являются египетские пирамиды, — и все это она выражала лишь движениями своего тела.

Потом под прекрасную, томящую мелодию она проплыла по сцене еще раз, прижимая к груди смерть, утешительницу страждущих, в виде змеи. В этом последнем танце ей удалось соединить все, что она показывала прежде: затем — взгляд — один-единственный (заметил ли его кто-нибудь еще?) — в сторону ложи.

Было ясно, что он достиг своей цели. Статуя задрожала, не смотря на усилия скрыть свою дрожь.

А Жирандола со сладкой улыбкой обвила змею вокруг себя, прижала пасть змеи к своей груди и, содрогнувшись в конвульсии, умерла.

Никогда еще не видел я настолько совершенного и реалистичного исполнения: последнее произвело на публику неизгладимое впечатление и вызвало шквал аплодисментов. Однако она не поднималась. Кто-то рядом со мной заметил:

— Как глупы эти люди! Если она встанет, весь драматический эффект будет потерян. К счастью, ее артистизм не позволит ей совершить такую ошибку.

Точно такими же были и мои мысли.

Когда мы с доктором Ковачем направились к выходу, к нам в спешке подошел какой-то человек и произнес:

— Пожалуйста, пройдите со мной! Вы — врачи. Она больна, она в опасности.

Он обратился ко мне:

— Герр доктор, мне сказали, что вы англичанин. Возможно, вам неизвестно, что она тоже англичанка, несмотря на итальянский

псевдоним. Возможно, она в обмороке, но я подозреваю нечто худшее. Если она придет в себя, то объяснит вам все сама. А пока прошу побыстрее пройти со мной! Я покажу вам, что произошло.

Он торопливо отвел нас за кулисы и показал нам змею. В пасть ее был изобретательно вмонтирован шприц, который можно было привести в действие, нажав на шею.

Холодный пот выступил у меня на лбу. Стало быть, на мне лежала часть ответственности за гибель девушки. Ведь мне (гордыня и эгоизм не миновал никого!) было прекрасно известно, что она не приучена принимать большие дозы морфия.

— Как к ней мог попасть шприц? — спросил доктор Ковач. — У нас в Австрии с этим очень строго. Очевидно, она привезла его с собой. Видимо, она использовала его для каких-то театральных трюков. Ладно, будем надеяться, что с ней все в порядке: пойдемте, взглянем на нее.

В тот момент мне не хватило смелости сказать ему правду. Я просто согласился с его словами:

— Да, давайте посмотрим, что с ней произошло, — и прихватил шприц с собой.

Нам потребовалось лишь несколько минут, чтобы установить, что это был не обморок: все симптомы, если можно так выразиться, указывали на внезапную, насильственную смерть. И это (какими бы жестокими ни показались мои слова) пробудило во мне надежду. Если бы смерть наступила от инъекции морфия, симптомы были бы иными. В шприце еще что-то оставалось. Я вылил несколько капель в стакан и обнаружил, что *это был не морфий!* Я — врач, человек трезвомыслящий и рассудительный: ни при каких обстоятельствах я не теряю головы. Однако в то мгновение мне показалось, что меня затягивает водоворот, словно в дурном сне.

Да, конечно, феерический танец, прекрасная женщина, все могло показаться сном, вызванным моими напряженными нервами, укрепить которые я приехал за границу. Было ясно, что я выписал для Жирандолы слишком большую дозу морфия. Нет, меня определенно сморило после обеда.

— Нужно отдать вещество на анализ, — сказал доктор Ковач.

Эти слова встряхнули меня: нет, я не сплю, все происходит наяву. И едва Ковач произнес эти слова, как кто-то ворвался в комнату.

Это была та прекрасная женщина из ложи. Бросившись к телу, она ласково позвала по-английски, с небольшим акцентом:

— Этель! Этель, дорогая, ты слышишь меня?

Затем она перешла на итальянский:

— О, Этелина! Бедняжка! Проснись же! Это я зову тебя! Я, Гиацинта! Зачем ты ушла от меня, капризная негодница?

Она называла ее нежными прозвищами, причитая по-итальянски. В комнату вошел ее муж, держа подбитую горностаем накидку.

— Сударыня, — произнес он, — я принес вашу накидку.

Она вновь приняла обличие мраморной статуи. Повернувшись ко мне, она заговорила на прекрасном английском языке — почти без акцента:

— Полагаю, доктор, это обычный обморок, она всегда была им подвержена.

В ее голосе звучала такая неискренность, что мне в ту же минуту стало ясно, что она все поняла.

— Нет, — ответил я, — боюсь, это что-то более серьезное.

— Благодарю вас, — вежливо, но холодно произнесла она.

Супруг набросил плащ на ее плечи, и я услышал, как, выходя, она прошептала ему по-французски:

— Не прикасайтесь ко мне и не разговаривайте до завтрашнего утра!

Взяв с собою шприц, мы с Ковачем поехали в гостиницу. Здесь мы сообщили о происшествии владельцу, и он показал нам комнату Жирандолы. На туалетном столике стоял небольшой пузырек с морфием — почти полный, если не считать нескольких капель: пробка была вытащена. Однако содержимое, по-видимому, употреблялось внутрь, а не под кожу.

Воспользовавшись случаем, я рассказал Ковачу правду о рецепте, и он согласился с тем, что морфий не мог быть причиной смерти, так как жидкость в шприце не пахла морфием.

За зеркалом обнаружился пузырек с молочно-водянистой жидкостью. По виду она точно соответствовала той, что осталась в шприце. Мы тут же отнесли ее к ближайшему аптекарю, и тот провел химический анализ. Но понадобилось некоторое время для того, чтобы мы уяснили, что в пузырьке был *яд кобры!*

На мои плечи легла нелегкая задача. Администрация театра знала Жирандолу только под этим именем или под другим псевдонимом, который она избирала. О друзьях и родственниках ее ничего не было известно. Конечно, сейчас с ними следовало связаться. Было известно лишь, что она англичанка, и мне как ее соотечественнику поручено было осмотреть ее документы и вещи. Я забыл имя, которое она записала в гостевой книге. Так или иначе, все знали ее под именем Жирандола: и поскольку у меня имелось официальное предписание, никто не возражал против осмотра того, что осталось в ее комнате.

Среди вещей нашлись кое-какие письма — их было немного: и великолепно переплетенная в узорчатый пергамент книга — я разумею рукописную книгу, — в которую она заносила своим замечательно разборчивым почерком, хотя и с множеством росчерков и завитушек, подробнейшую историю своей жизни.

На внутренней стороне обложки имелаась дарственная надпись: «Этель от тети Матильды: на ее шестнадцатилетие».

Первым мне попало следующее письмо:

«Дорогая Этель,

при этом высылаю 10 фунтов. Наверное, это выглядит нелепо; но это все, что я могу тебе послать. Проще было бы обойтись чем-ком, но по нему можно выяснить фамилию отправителя, и тогда...

Хотя мне позволено тратить любые суммы, герцог требует отчета за каждый израсходованный пенс. Чистейший абсурд, если учесть, что это мои деньги, а не его! И за моими расходами действительно следит тетя Матильда, а не тетя Джейн. Тетя Джейн занята моим моральным воспитанием. Вот и получается, что я могу купить алмазное ожерелье за тысячу фунтов и в то же время не в силах послать тебе даже соверена. В сущности, чтобы отправить

эту малую сумму, я была вынуждена купить несколько ярдов кружев, которые мне абсолютно не нужны, — и слегка увеличить цену в моем отчете, чтобы не навлечь подозрений.

Тетя Джейн перестала красить волосы и заявила, что из-за твоего постыдного поведения они внезапно поседели. Тетя Матильда же продолжает носить букли. Кстати, именно она считает необходимым советовать, как мне одеваться, хотя ее суждения о нарядах для герцогинь, мягко говоря, не соответствуют времени.

И все же тетя Матильда более снисходительна.

Однажды она сказала:

— Бедное дитя! Интересно, что она подделывает?

— Не упоминай ее имени, Матильда, — откликнулась тетя Джейн.

— А разве я упоминала ее имя? Впрочем, ты знаешь, о ком я говорю. Между прочим, церковь советует прощать грехи, если грешница искренне раскаивается.

— Милая Матильда, — сказала тетя Джейн, — ты говоришь как католичка. Есть некоторые вопросы...

Тут красноречие ее подвело, и она, позвонив в колокольчик, велела принести нам чаю. Не правда ли, прелестное описание?

Бедное мое дитя, я все о себе и о себе. Напиши же в подробностях, как ты живешь.

Да, забыла сказать, — на прошлой неделе я ужасно перепугалась. Герцог предложил сходить в Оперу. К счастью, мне удалось сослаться на головную боль. Бог ты мой! Что произошло бы, если бы он увидел тебя! Хоть тетя Джейн и выдрессировала его как следует, его старые боевые инстинкты еще живы. Представляю, какое коленце мог бы он выкинуть!..

Я рада за нас обеих, что ты уезжаешь из Англии. Ужасно мило со стороны Кальяри взять тебя с собой в Неаполь! Судя по твоему описанию, она приятная женщина. Я даже завидую твоей независимой жизни. Наверное, балериной быть гораздо веселее, чем герцогиней. Хотя я сама виновата, что согласилась на брак с герцогом: думаю, теперь мне надо отвечать за последствия. Теперь прощай, дорогая.

Остаюсь

твоя почтенная и уважаемая тетушка

Вирджиния.

P.S. Кстати, вечно забываю написать о главном, а именно — свои письма шли, как обычно, по адресу Виго-Стрит, дом 2: но не на имя «Фифина», а «Корали». Так уж получилось, что Фифина тоже ведет тайную переписку: и хотя ей должен быть известен твой почерк, она все равно вскрывает все письма, а мне говорит, что ошиблась, поскольку на конверте стояло ее имя. Я, конечно, не верю, что она шпионит на тетю Джейн, — да и тетя Джейн при всех ее недостатках не пошла бы на такую низость, — просто обычное любопытство служанки. Однако если ты будешь слать письма Корали, она уже не сможет притворяться, что спутала их со своими».

Это письмо без адреса, даты и подписи не давало никакого ключа к тому, где можно было искать родственников Жирандолы. Из него можно было сделать лишь один вывод: что она была из аристократической семьи: и что ее родственники-аристократы не были бы особенно обрадованы, свяжись я с ними.

Конечно, я мог получить какие-то сведения от герцогини де Морлей. И все же я воздерживался от обращения к ней: и Ковач согласился с тем, что без крайней нужды нам лучше этого не делать. Легко было заметить, что каким бы ни было ее знакомство с Жирандолой, она не желала придавать его огласке.

Таким образом, дело приобретало затруднительный поворот, и я приступил к дальнейшему изучению бумаг.

С помощью нескольких писем и особенно дневника я, в конце концов, воссоздал всю историю. Начало дневника искрится озорным весельем непослушного ребенка, растущего под присмотром двух строгих тетушек.

Дневник начинается такими словами: «Сегодня тетя Матильда подарила мне вот это. Мне исполнилось 16, зрелый возраст. Тетя Джейн заметила:

— Я не одобряю того, чтобы девушкам дарили дневники: они развивают у них сентиментальность.

— Ну что ты, дорогая Джейн, — возразила тетя Матильда, — Этель совершенно не сентиментальна. Наоборот, ведение дневника разовьет у нее методичность.

— Вот если бы, — сказала тетя Джейн, — ты купила ей дневник с листами для ежедневных отчетов, то это был бы хороший подарок: я и сама подумывала о том, чтобы подарить ей такой дневник: но после того, как ты сказала, что хочешь подарить ей дневник, я решила купить ей корзину для рукоделия. Такую большую тетрадь, как эта, девушки называют альбомом и записывают в нее всякую чепуху: а затем перечитывают ее снова и снова. Остается только надеяться, что Этель не поддастся этому соблазну.

— Право, — дерзко сказала тетя Матильда, — я всегда находила большим утешением вести такой дневник: о том, какие книги я читала, и что чувствовала, и все такое.

— Моя дорогая Матильда, — сказала тетя Джейн, — боюсь, ты всегда была склонна к сентиментальности — а этого я не одобряю. Помнится, в то время ты зачитывалась этими глупыми романами вроде «Клариссы Харлоу»¹.

Натуральным образом, мисс Этель идет и прерывает весь замок в поисках «Клариссы Харлоу», так занимавшей в юности тетю Матильду. Однако книга не произвела на нее большого впечатления, поскольку мы находим такую запись:

«Нет, больше ни строчки! Если в те дни подобные романы считались занимательными, то какими тогда были скучные книги?»

По первым же страницам легко догадаться, что Этель приходилась племянницей герцогу и осталась сиротой в очень раннем возрасте, будучи отдана под опеку своей тете Джейн. Сам герцог был младшим в семье и считался слишком юным и легкомысленным, чтобы осуществлять заботу о девочке.

После смерти своей первой жены, умершей вскоре после их брака, он, сломленный горем, попросил своих старших сестер, леди Джейн и леди Матильду, вести его хозяйство. Постепенно

1 «Кларисса Харлоу» — нравоучительный роман Сэмюэля Ричардсона (1689-1761), опубликованный в 1748 г.

он подпал под их влияние — особенно под влияние здравомыслящей леди Джейн, которая была значительно старше него. (Хотя в ту пору, когда Этель начинала вести дневник, герцог был не так уж и молод).

Далее следовали заметки о повседневной жизни в доме. Возможно, излишне сатирические: однообразные семейные молитвы, во время которых тетя Матильда иногда играла на арфе, — «изысканное достоинство, приобретенное в давно прошедшие времена», как замечала Этель.

В дневнике были и детские воспоминания. «Однажды я услышала, — пишет она, — как епископ сказал в беседе с приходским священником, что прежде чем начинать танцевать, надо научиться ходить! Однако, насколько мне помнится, я танцевала еще до того, как освоилась в ходьбе, — по крайней мере, немногим раньше. Едва я слышала звуки музыки, как меня неудержимо тянуло танцевать. Моя няня рассказывала, что я танцевала под звуки уличной шарманки задолго до того, как научилась говорить. Вот и на семейных молитвах мне с трудом удавалось сдерживать себя, когда тетя Матильда играла на арфе, — а она это делала не очень умело».

Одна из более поздних записей, где бедняжка Этель не удерживается от сентиментальности, повествует о Кальяри: «Ах, почему я не могу аккомпанировать ей? Музыка доставляет мне такое наслаждение, но я не умею играть на фортепьяно. Стоит мне коснуться клавиш, как сразу хочется танцевать; музыка и движение кажутся для меня единым целым. Кто бы знал, каких усилий мне стоит сидеть неподвижно на концертах или даже в церкви».

Затем, возвращаясь к прежнему стилю, она добавляет: «И как мне забыть тот миг, когда я, маленькая девочка, во время хора танцевала в боковой капелле собора, а тетя Джейн...»

Далее следовали звездочки. Из ее описаний, однако, нетрудно было представить, что сказала или сделала тетя Джейн — и особенно как она при этом выглядела!

Пришла пора, и Этель должны были вывести в свет. Она очень потешно описывает это: пародируя статьи в разных газетах, посвященные ее появлению в обществе.

В записях того периода не было ни меланхолии, ни малейших следов печали: лишь время от времени в ее сарказме проскальзывает легкая злость.

Вот письмо к ней герцога, написанное хоть и банальным языком, но, по крайней мере, с добрыми намерениями:

«Мне всегда казалось, ты любишь танцевать. Но леди Ладлоу передала мне, что когда она берет тебя на бал, ты совсем не танцуешь: и еще то, что ты ведешь себя совершенно неучтиво по отношению к лорду N. Мое дорогое дитя, я буду с тобой откровенен. Поскольку у меня нет прямых наследников, в случае моей смерти все наше состояние перейдет кузену, и ты останешься ни с чем: не знаю, известно ли тебе об этом, но мы небогаты, хотя вынуждены притворяться. Поэтому лучшим выходом для тебя будет подходящий брак. Лорд N, на мой взгляд, — самая желанная персона...»

Это письмо она высмеяла безжалостно и едко.

Тем временем герцог женился на красивой, богатой американке. Вот что пишет о ней Этель:

«Я — дурнушка, и Вирджинии нравится оттенять мною свою красоту. В моей компании она выглядит ослепительно».

Это замечание довольно несправедливо, учитывая, что Вирджиния осыпает ее разными благами.

На следующий день она раскаивается: «Я не должна была писать так о Вирджинии. Но это не ревность — просто зависть. Нет! точно не ревность, больше всего на свете я люблю смотреть на красивых женщин. Но тогда мне хочется быть такой же красивой! Мне просто хочется, чтобы Вирджиния любила меня по велению сердца, а не проводила со мной время из-за того, что она мается скукой в компании тети Джейн и тети Матильды».

«Что там ни говори, — добавляет она в качестве постскриптума, — тетя Вирджиния — это улучшенная версия тети Джейн».

Однако именно Вирджиния была ей дружеской опорой во время невзгод. Ибо невзгоды не заставили себя долго ждать.

Леди Ладлоу просит Этель пожить у нее на время сезона. Герцог с супругой уехали за границу. Тетя Джейн об этом и слышать не хочет: но она не может обидеть графиню Ладлоу и потому идет на

компромисс. Она будет жить в Лондоне, и Этель будет жить с ней, однако ей будет позволено выезжать с леди Ладлоу при условии, что она будет ежедневно отчитываться о своем времяпровождении.

«— Эх! — записывает Этель, ссылаясь на одну из баллад Бэба¹, которую как раз читает:

Пусть к герцогу идет Порок,
А к графу Добродетель.

Со мной все выходит в точности наоборот. Подчеркну-ка я эту строфу. Боюсь, что с меня уже хватает добродетели герцогской».

Вскоре после этого тон дневника меняется. Леди Ладлоу повела девушку в Оперу на «Семирамиду», где в роли Арзаче выступает Кальяри. С этого момента Этель начинает просить леди Ладлоу брать ее в Оперу на каждое выступление Кальяри. В ее записях появляется любопытная скрытность, хотя прежде она была довольно многословной. Она не изливается насчет своих чувств к Кальяри, просто выдает одну краткую фразу: «Никто не зачаровывал меня прежде так сильно».

Записи этого периода отличаются краткостью, вот как эта: «Обед у леди такой-то: обед дома, затем поехали в Оперу и смотрели ее!»

После этого — возвращение на землю:

«Святые небеса! Что тетя Джейн скажет о моих счетах из цветочного магазина! И как я отчитаюсь за мои карманные деньги? К счастью, у меня остались драгоценности, которые дала мне Вирджиния. (Ах, как бы я хотела рассказать ей обо всем! — но нет, по здравому размышлению лучше бы не надо). В любом случае, можно продать алмазы и тем самым покрыть возникшую недостачу».

На следующий день она просто и коротко, даже судорожно, записывает (продолжая предыдущую запись):

«А почему бы и нет? Это мой шанс на избавление. Да, можно было бы».

И еще через день:

1 Финальные строки из стихотворения У.Ш. Гилберта «Продавища литорин» (пер. Аллы Хананашвили).

«Да, решено».

Выясняется, что она покинула дом, оставив письмо, в котором сообщала тете о своем намерении уйти в актрисы. Записи этого периода достаточно невнятные, так как их автор, в отличие от читателя, располагал всеми фактами: и, следовательно, лишь по намекам мы можем догадываться, что произошло. Очевидно, ее поступок вызвал негодование семейства. Герцог вычеркнул девушку из завещания и отрекся от нее: единственной родственницей, с которой она поддерживала связь, была молодая герцогиня, ухитрявшаяся при помощи француженки-служанки украдкой отправлять ей небольшие суммы. В этом месте записи восторженно-сентиментальны:

«Не все ли равно, что я живу на хлебе и воде? У меня пока хватает средств, чтобы заплатить за место на галерке».

В один из дней она решает на необычный поступок. Посмотрев «Фауста», где Кальяри играла Зибель, девушка решила устроиться в балетную труппу — как она пишет, «пусть даже простой статисткой, лишь бы быть рядом с ней. Все же, — добавляет она с улыбкой, проступающей сквозь строки, — я умею танцевать».

Она отправляется напрямик в Оперу и требует встречи с директором. Директор, доброжелательный немец, принимает ее настороженно.

— Что вам угодно? — спрашивает он резковато.

— Я хочу поступить в кордебалет, — отвечает она.

— Что ж, у нас и вправду имеются вакансии, — говорит он неосторожно. — Но прежде я хотел бы посмотреть, как вы танцуете.

— Что ж, отлично, но мне нужен аккомпанемент, — отвечает она.

Директор, увидев, что имеет дело с дамой, а не с девушкой из простых, с какими в последнее время ему приходилось сталкиваться, немного смягчился и удовлетворил ее просьбу, предложив ей переодеться — вернее, раздеться — в соседней комнате. Его помощник, который заодно был музыкантом в оркестре, инстинктивно заиграл музыку из балетной части «Фауста» — оперы, которая должна была идти в тот вечер. Этель станцевала.

(Могу представить, как она это сделала!) Без лишних слов ее приняли, назначив выступать в тот же вечер, ибо из-за болезни *première danseuse*¹ вся балетная часть была на грани отмены.

Немец, видимо, решил, что она может без дальнейших проб, за исключением одной небольшой послеобеденной репетиции, взять на себя главную роль. И было ясно, что она *смогла*.

Две следующие страницы дневника заклеены вырезками из газет, посвященными ее фантастическому успеху. Третья осталась пустой.

Она ставит заголовок: «*Vita nuova*²», — и начинается совершенно другая тема.

Пускай лестные, отзывы в газетах не особенно-то ее радуют. Об этом свидетельствуют иронические заметки на полях.

Тем вечером в ее гардеробной появился не кто иной, как сама Кальяри: свое выступление в роли Зибель она закончила задолго до начала балетной части и смотрела балет из ложи. Их встреча описана *in extenso*³, поэтому лучше привести ее в форме рассказа, а не *ipsissima verba*⁴ дневника.

— Мое милое дитя, — произнесла Кальяри, — ты просто чудо, феномен. Я даже удивлена, обнаружив, что ты ходишь по земле. Я-то думала, что ты действительно одно из тех эфирных созданий, которых ты изображала.

«Затем, — сообщает дневник, — она меня поцеловала! Я задрожала от восторга!»

— Ты мне по-настоящему интересна, — продолжила Кальяри. — Хорошие балерины нынче перевелись. По крайней мере, в этой стране, во Франции, в Германии: и я даже не уверена, что могу сделать исключение для Италии. Прошу, возьми это в качестве сувенира, — сказала она, снимая с руки браслет из прекрасных цейлонских аквамарин. — Эти камни того же цвета, что и твои глаза.

¹ прима-балерина (фр.)

² Новая жизнь (ит.)

³ очень подробно (лат.)

⁴ точными словами (лат.)

— Нет, — запинаясь, ответила Этель, — я не могу принять такой подарок...

— Отчего же?

— Потому что я, кажется, знаю, кто подарил его вам, — сказала Этель, запинаясь и краснея еще больше.

— Вот как! — заметила Кальяри. — Ты действительно знаешь, кто мне его подарил? Это интересно. Но, милая моя, я так устала от этих нескончаемых букетов с вложенными в них карточками: знаешь, такие огромные корзины цветов, составленных без всякого художественного вкуса. И что, скажи на милость, мне с ними делать? Хотя я должна признать, что иногда в них бывают красивые вещи, подобные этой.

Тут Этель задрожала.

Усадив ее к себе на колени, точно ребенка, и глядя по волосам, Кальяри томно произнесла:

— О, как я ненавижу мужчин! Не могу понять женщину, желающую мужчину или даже отдающуюся ему. Какая может быть в этом прелесть? Щетинистые, хрящеватые, с толстыми жилами и железной плотью, покрытой звериной шерстью, полное отсутствие утонченности; все мысли лишь о скотском обладании. Фуй!

Ее золотистые глаза сверкнули огнем, голос завибрировал от гнева. Своими большими сильными руками она обвила маленькую Этель, трепещущую от наслаждения.

— Но, — сказала она, издавая низкий смешок и ослабляя объятия, — бриллианты всегда остаются бриллиантами. Они приходятся весьма кстати в черный день. Если людям нравится дарить мне подарки, которых я не просила, то почему бы мне их не принимать? Нет, в самом деле, — сказала она, переменив тон, — я немного удалилась от темы; ибо среди всех этих безвкусных букетов было несколько поистине прекрасных, подобранных рукой художника, — так они отличались от примитивных изделий местных цветочных магазинов. Получать их было наслаждением. В них не было вложено никаких карточек. И вот однажды в букете божественных орхидей я обнаружила этот браслет. Бриллианты мне наскучили — если закрыть глаза на их ценность. Но

эти камни мне действительно по вкусу. А однажды букеты перестали приходить. Мне очень хотелось бы узнать, кто был этот безымянный поклонник. Если ты говоришь, что знаешь его, прошу, скажи, кто он. И по какой причине он обиделся на меня и перестал присылать цветы?

— Я думаю, — ответила Этель, — этому человеку стало не на что покупать букеты.

И она разрыдалась.

— Прости меня, прости, — воскликнула Кальяри. — Но почему ты плачешь, дитя? Я заглянула в тайный уголок твоей души? Поверь, я не хотела.

— Это была... я, я, я, я! — в слезах призналась Этель. — Это я посылала вам цветы. Теперь вы оставите у себя мой браслет?

— Глупенькая, — произнесла Кальяри. — Зачем ты это делала? Ну-ка, расскажи мне о себе: где ты живешь и с кем?

— Я живу одна, где придется, — отвечала Этель. — Теперь, получив ангажемент, устроюсь где-нибудь получше.

— Нет, так не пойдет, — сказала Кальяри. — У тебя просто не получится... Постой, блестящая идея! Скоро я еду в Неаполь, где у меня есть очень симпатичная вилла. Но, во-первых, мне бы не хотелось жить там одной, вот как сейчас, а во-вторых, я настолько ленива, что хотела бы иметь кого-то, кто бы вел за меня переписку. Если ты отправишься со мной в качестве компаньона и секретаря, я познакомлю тебя с лучшими людьми Неаполя, да и вообще Италии, где танцы гораздо в большей цене, чем где бы то ни было, и в самое короткое время ты произведешь фурор и встанешь на ноги, чего, — смеясь, добавила она, — тебе никак не удастся на сцене.

«Тогда, — наивно сообщает дневник, — не в силах сдержаться, я вскочила и закружилась в танце. Она рассмеялась — и снова поцеловала меня».

После этого мы находим их в Неаполе.

Оставляя в стороне восторженные описания мраморной виллы в помпейском стиле и много чего еще, легко угадать между строк подлинный характер Кальяри. Праздная, чувственная,

насквозь себялюбивая: но при всем этом, будучи в духе, добросердечная и благожелательная, она по-своему любила странную девочку, так привязанную к ней, и относилась к ней как к ребенку.

Выясняется, что Этель не получает за свои услуги ничего. Но Кальяри выполняет свое обещание и обеспечивает ее ангажемент; как она и предсказывала, Этель, принявшая псевдоним Жирандола, производит фурор.

Ее выступления начинают приносить доход. Хотя Кальяри получает огромные суммы и дорогие подарки со всех сторон, когда снисходит до того, чтобы спеть, — и этого мало при ее ненасытной роскоши. И Этель, или Жирандола, отдает Кальяри то немного — а по тем временам действительно немного, — что зарабатывает.

Приведу в пример одну из страниц дневника.

«Наконец-то она отделалась от этой ужасающей Джанет. Мне удалось убедить ее взять меня в услужение вместо того, чтобы нанимать кого-то другого. Это стало наслаждением моей жизни. Я каждое утро готовлю для нее ванну из молока ослицы с мятой клубникой или розовой водой. После ванны я обволакиваю ее нежным пеньюаром, расшитым голубыми и серебристыми блестками. Пока она обтирается, я опускаюсь в ванну и наслаждаюсь водой или, точнее, молоком, в котором купалась *она*. Затем я облачаю ее в изысканный халат, также вышитый голубыми и серебристыми цветами (у нее страсть к серебру). Ах, какие на нем кружева! После этого мне позволено расчесать и уложить ее волосы, ее восхитительные волосы, издающие аромат тонких пряностей. Кажется, я слишком подробно описываю. Мне всегда становится так грустно под конец.

К тому времени она начинает разыгрывать гаммы и пробовать свой дивный голос. А потом она *поет*. Она сама аккомпанирует себе. Я не умею играть: я умею лишь танцевать; и когда она поет, я танцую втихомолку в соседней комнате».

По-видимому, Кальяри имела весьма поверхностное образование и когда-то изучала латынь. Так или иначе, о язычестве она знала достаточно, чтобы набить голову бедной девушки неимоверным количеством чепухи.

Во второй половине дня ей нравилось прогуливаться среди роз — она обожала эти цветы; у нее был самый красивый розарий в Неаполе, в котором, бывало, Жирандола танцевала перед ней на манер Саломеи. (Право, одной из самых трогательных реликвий, найденных среди вещей Жирандолы, была засушенная роза, которую, как писала Этель, «Кальяри бросила ей, притворяясь, что это голова Иоанна Крестителя»).

Затем мы находим их в Париже.

Вдвоем они выступали в Опере и имели огромный успех.

Однажды некий старый русский князь, обладатель огромного состояния и меломан, написал Кальяри вот что:

«Сударыня,

У меня нет слов, чтобы выразить испытываемое мной наслаждение при звуках Вашего голоса. Не пугайтесь — я не стану навязывать Вам свое знакомство. Нет, нет! Я стар и безобразен.

Тем не менее, умоляю Вас принять это дар — два рубина, добытые на моих сибирских приисках и отличающиеся особенным блеском, который, как мне кажется, соответствует звуку Вашего голоса. Боюсь, Вы не поймете, что я имею в виду. Все, о чем я прошу Вас, — принять этот дар и простить дающего».

— О! — вырвалось у Кальяри при виде рубинов. — Они *voistину* прекрасны. Этот камень будет мой, а этот — для тебя. Во что ты его оправишь? Нет, я и сама знаю: я сделаю для тебя обручальное кольцо — рубин в серебряной оправе. Что же касается меня, тут еще надо подумать.

Через несколько дней Кальяри игриво объявила Этель о том, что собирает большой званый ужин в честь их *fiançailles*¹: и гости должны явиться в костюмах персонажей какой-нибудь известной оперы.

Она выбрала для себя костюм Фауста: и настаивает на том, чтобы Этель изображала Маргариту — и непременно с косичкой.

¹ помолвка (фр.)

«Ах, — восклицает автор дневника на полях, — разве не было там Мефистофеля?»

(Эта надпись, конечно же, появилась позже).

На ужин явилось несколько известных актеров и актрис, облаченных в чудесные костюмы. Знаменитый комик вызвал всеобщее веселье, вырядившись Мартой. Но самым большим развлечением стало появление юного женоподобного графа де Алеско в длинной ночной рубашке — он, видите ли, изображал Сомнамбулу.

Кальяри с напускной торжественностью надела обручальное кольцо на палец Этель. Все сочли это хорошей шуткой, шампанское полилось рекой, и множество бокалов было разбито на счастье.

После этого мы снова находим их в Булони — точнее, в Виммерё.

И здесь начинаются сложности.

Как-то раз они едут в казино, чтобы поиграть в *Petits Chevaux*¹. Там они знакомятся с герцогом де Морлеем — «*Jeune Fat*»², как назвала его Этель; он приходит на помощь Кальяри, когда та обнаруживает, что оставила деньги дома. Этель отступает на второй план, проклиная себя за нелепую забывчивость. Герцог де Морлей просит разрешения нанести визит и, конечно же, получает согласие. В ту пору он как раз переживает разрыв с мадемуазель Серафиной де Сен-Амарант, которая предпочла ему того «кагота»³ (как он его называет) Селестина де Лавалья. Будучи легитимистом⁴, герцог старается соблюдать минимальные условности католической веры: ныне сердце прекрасной Серафины склонилось к «каготу»: (на самом деле он с самого начала его ненавидел), но

1 «Пти шов» (фр. — лошадки) — настольная игра, имитирующая бега на ипподроме: по разграфленному картонному листу противники передвигают от «старта» к «финишу» фишки в форме лошадей, скорость передвижения которых определяется количеством очков, набираемых при поочередном бросании игральных костей.

2 Жирный евнух (фр.)

3 Каготы — племя в западных Пиренеях, вероятно готского происхождения; у французов «кагот» — синоним парии, уродливой, презренной расы.

4 Легитимист — приверженец свергнутой династии, во Франции — сторонник Бурбонов.

возмутительным язычеством Кальяри он просто очарован — и уж тем более ее красотой.

Кстати, к этому я могу присовокупить интересное наблюдение из области патологии: во всем дневнике Этель, или Жирандола, не выказывает никаких религиозных чувств. Религия в ее сознании связана исключительно с тетей Джейн и женой епископа, носившей длинные локоны в виде бутылочек.

Вот однажды возникает ссора.

— Он герцог и миллионер, — заявляет Кальяри, — и мы просто не можем себе позволить пренебрегать им.

Этель впервые отвечает резко:

— Это вы не можете, а я *могу*. Мне приходилось иметь дело с герцогами побольше *вашего*.

Позже в дневнике она раскаивается в этом не совсем справедливым замечании. Но какое любопытное совпадение в том, что судьба свела этих двоих — одну, бежавшую из герцогского семейства ради карьеры танцовщицы, и другую, отказавшуюся от славы певицы, чтобы стать герцогиней.

Далее в строках дневника появляются, вначале не очень явные, нотки презрения к Кальяри, этому кумиру, предмету обожания. И все же Этель не перестает сокрушаться и посыпать голову пеплом из-за тех нелюбезных слов.

(Здесь я должен сделать небольшое отступление, поскольку это, прежде всего, этюд о патологии, а не рассказ. Этель смиренна до унижения, но в то же время горда, как Люцифер. Я часто замечал этот вид гордости, присущий крови настоящих аристократов; любопытно, однако, то, что он принимает различные формы: взять хотя бы леди Джейн и Этель — одна настойчиво требует выполнения этикета и формальностей, ограждая себя от мира неприступными барьерами церемониала, словно какая-нибудь священная персона; другая, наоборот, пускает по ветру все *convenances*¹ и с тою же гордостью говорит: «Я могу обойтись без этого, а вот вы в плену своего положения не можете».

¹ Приличия (фр.)

Думаю, это унаследованное чувство аристократизма переживает монархию; за исключением, возможно, Англии, где большая часть настоящих аристократических семей вообще не имеет титулов, а те, кто их имеет... Впрочем, это не важно: я врач, а не политик. И, кажется, я слишком отвлекся).

Однажды утром Кальяри сообщает подающей шоколад Жирандоле:

— Да, я забыла сказать, что выхожу замуж за герцога де Морлея.

— Меня, — отвечает Этель просто, — это не удивляет.

И в дневнике ее появляется запись: «После этого я ушла».

Прочитав эту фразу, я сначала подумал, что она ушла из комнаты. Но нет: не устраивая сцен, она собирает сумку (которую забирает с собой), упаковывает саквояж и коробки и оставляет короткое официальное письмо, в котором просит отправить их в одну парижскую гостиницу. И это все.

С того времени ее записи меняются. Она не сетует: просто все пронизано унынием, порой граничащим с безумием. Прежний юмор и живость оставили ее или, вернее, превратились в злой сарказм. Она не щадит никого: ни администраторов, ни нанимателей, ни коллег-исполнителей, ни — особенно — поклонников. О Кальяри она едва упоминает: скорее, не упоминает совсем, если не считать намеков, кратких и между делом.

Ее характер меняется: она становится замкнутой; всегда одевается в черное, мало заботясь о своем виде, питается одним воздухом и, заведя расходную книгу, требует от администраторов каждый грош, — и это та беззаботная девушка, которая готова была отдать последнее и так привыкла к роскоши.

Говоря, что она никогда не упоминала о Кальяри, я слегка неточен, ибо вот что она пишет однажды:

«Не представляю, на что бы я жила, если бы не умела танцевать: и даже это становится для меня утомительным. Я словно бы впитывала в себя жизненную силу Гиацинты, ее изумительное здоровье; а сейчас почащу испытываю такое истощение сил, что

вынуждена использовать правацовский¹ шприц с морфием, который та женщина — не знаю, любить ли мне ее или ненавидеть — подарила мне и научила, как им пользоваться».

Похоже, ее не отпускает мысль, что Кальяри забыла о ней. По-видимому, ей так и не пришло в голову, что та ожидает от нее первого шага: и что письмо с требованием о доставке дорожных сумок — не очень-то вежливый способ расставания.

Как-то она записывает:

«Из всего нынешнего репертуара мне большего всего нравится «Жизель» (балет Теофиля Готье). В нем мужчина, в которого я по сюжету влюблена, женится на графине или что-то вроде того — какой-то шишке, и я умираю на сцене. Но на этом моя роль не заканчивается. Ибо в последнем акте неверный возлюбленный навещает мой склеп, и тут появляюсь я и здорово забавляюсь всю ночь напролет, так что наутро его находят мертвым рядом с могилой».

Думаю, мое исполнение весьма натурально. Потому что однажды я заметила, что некоторые люди в зрительном зале плачут, а для балета это дело необычное: а однажды кто-то прислал мне красивый надгробный венок из белых орхидей с запиской: «Pour le tombeau de Giselle!»²

Что ж, это было оригинально: довольно интересно, кто бы это был. Нет, мне лучше остановиться на сегодня — слишком болезненно это якобы совпадение».

А в другой раз молодой восторженный французский поэт направляет ей сценарий балета под названием «Смерть Клеопатры»!

Сюжет затронул ее, и она принимает роль.

С этой поры она становится одержимой навязчивой идеей. Любопытно то, что здесь присутствует длительная и очень тщательная проработка плана. Она решает, что если умрет на сцене на глазах у Кальяри (хотя нигде ее не упоминает), это будет весьма зрелищно и драматично. Обычно люди, совершающие подобные

¹ Шприц для подкожных инъекций, названный по имени изобретателя, лионского врача Шарля Габриэля Праваца (Pravaz) (1791-1853).

² «На могилу Жизели» (фр.)

поступки, действуют импульсивно, если вообще доходят до конца. Впрочем, я не прав. Натуры страстные, при всей их болезненной чувствительности к разным пустякам, при всей одержимости идеями, ведут себя невероятно скрытно, сдержанно и решительно, едва затронуты тайные струны их души.

Вероятно, все атрибуты финальной сцены были приобретены в Париже: и Этель не пожалела на это средств. В отличие от многих читателей, я лично не был удивлен тем, что в парижских трущобах ей удалось найти старуху с репутацией колдуньи, которая за щедрую плату снабдила ее настоящим змеиным ядом.

«Я могу набрать яд «правацем», — пишет она, — и вставить шприц в змеиную пасть, как только завижу ее. Мне останется лишь узнать ее местонахождение и отправиться туда в турне со «Смертью Клеопатры», которая, кажется, публике нравится: однажды она непременно придет посмотреть балет».

На этом она заканчивает, но в продолжение пишет:

«Нет, мне не нравится морфий; на какое-то время он оживляет меня, но потом я чувствую себя еще хуже: а эти ужасные сны! чаще всего мне снится, что я погребена на дне океана, под жуткой толщей вод. Несчастливая я! так легко ступавшая по земле: разве требуется море, чтобы меня похоронить? Я бы предпочла склеп Жизели, откуда восставала бы и танцевала свой вечерний балет. О ужас комизма! Наверное, и у меня начинает развиваться чувство смехотворности — или, вернее, я начинаю думать, что все вокруг смехотворно: что серьезные люди должны быть обязательно нелепы».

Мало что можно добавить к тому, что уже сказано. С маниакальным упорством она подготовилась к смерти, и ее хладнокровие и спокойствие кажутся почти невероятными.

Она срывается лишь однажды:

«Прошлой ночью я видела сон, — пишет она, — как будто я была одна-оденешенька, в необозримой абсолютной пустоте; тьма была непроницаема: совершенно, абсолютно темно. Ни лучика света, ни звука. Но этот мрак был полон враждебных

дуновений. Я пыталась кричать, но голос отказал мне. О, ужас испытанного там одиночества! Неужели *это* и есть смерть?

Я молча и без перерыва проплакала весь день. Но сейчас мне надо остановиться: хотя поплакать еще так хочется; потому что сегодня вечером я танцую в «Арлезианке» (какая ирония!) — а слезы жутко портят грим».

Она остается одна на всем свете: у нее больше нет друзей: она давно перестала общаться с людьми.

«Я угасаю, как свеча, — записывает она, — и никто не заметит. Интересно, знает ли герцог или кто-нибудь из моих близких, что Жирандола — это я, несчастная!».

Она отправляется в турне и в конце концов находит Кальери в Вене.

В ее последних записях почти отсутствуют эмоции. Она лишь ругает неповоротливых носильщиков, которые раздавили ее шприц, и хладнокровно разрабатывает план использовать меня для приобретения нового.

Ее последние строки написаны вечером.

«Довольно-таки нелепо, — пишет она, — вести дневник до последнего момента, когда никакого завтрашнего дня уже не будет. Интересно, прочтет ли кто-нибудь этот драгоценный документ и что о нем подумает? Возможно, прочтет *она*, а может, вообще никто.

Вообще-то испытываешь тревогу, когда не знаешь определенно, наступит ли завтрашний день или не наступит. Может случиться так, что она не появится. Вопрос в том, притянет ли ее мое имя в программке или только отпугнет. Надеюсь и почти уверена, что она не удосужится прочесть программку. Это так похоже на нее! И тут явлюсь я с приятным сюрпризом. Ха! Ха!»

Это ее последние слова.

Других вещей было мало; лишь саквояж, полный прекрасного нижнего белья, да пара простых черных платьев. В кармане саквояжа нашлось завешание, точнее, записка, поскольку документ не имел подписи и заверения нотариуса. В нем говорилось:

«В случае моей смерти я завещаю все, чем владею, герцогине де Морлей». Подписано просто «Жирандола», и еще две подписи членов ее труппы в качестве свидетелей.

Там же, завернутая в золотистую шелковую ткань, обнаружилась фотография Кальяри в античных одеждах, со строками Шелли на обороте:

Неверный друг моей мечты,
Вздохнешь ли ты, поймешь ли ты,
Что твой умерший друг не дышит?
Но что улыбка, что слеза
Для тех, кого смела гроза!
Живого мертвый не услышит.
Конец — мечтам.
Кто шепчет там?
Змея в твоей улыбке! Милый!
Так это правду говорят,
Что видишь правду — над могилой!¹.

После тщательных поисков было найдено значительное количество тысячефранковых купюр, с большим искусством зашитых в ее платя.

Венские доктора подали прошение о выдаче им трупа для анатомирования, поскольку то был несомненный случай *felo de se*². И, право, мне тоже было бы интересно исследовать устройство мозга этого необыкновенного существа.

Прежде чем дело было рассмотрено, герцогиня де Морлей завладела телом и предала его кремации. Последним пристанищем Жирандолы стал сад на вилле герцогини в Неаполе. Урна с прахом, отлитая из чистого серебра и украшенная греческим рисунком с танцующими вакханками, установлена на пьедестале из серпентина в очаровательной греческой гробнице из алебаstra, что создает эффект необычайной легкости. Изнутри гробница

¹ «Ченчи», акт V, сцена III (пер. К. Бальмонта).

² самоубийства (лат.)

украшена фресками, подражающими сиенским «Трем грациям», и памятной доской со следующей надписью — парафразом известной эпиграммы из греческой антологии:

Вес, о земля, потерай; тяжко собой не дави ты
Ту, что при жизни тебя еле касалась стопой.

И все — ни имени, ни даты.

Такие случаи почти не поддаются классификации. Была ли она безумна? Определенно нет — по крайней мере, в обычном рассуждении. Ни один доктор не предписал бы поместить ее под надзор. Но отвечала ли она за свои поступки?

Убежден, что нет.

Подобные случаи болезненной патологии встречаются гораздо чаще, чем многие думают. На один выявленный случай приходится двадцать, а то и сто, которые не привлекли к себе ничего внимания. Скольких осудили как преступников и чудовищ, — а они просто не могли поступить иначе; аномалия была в их натуре; и как бы парадоксально это ни звучало, нормальное и естественное для обычного здорового человека им бы показалось куда более *противоестественным*.

Может показаться, что я излишне затянул анализ этого случая; однако для меня он особенно интересен как этюд о том, что я обозначил термином «болезненная патология».

Прежде всего, странность Жирандолы носит врожденный характер: ее никто не развращал и не портил; и, как явствует из дневника, она не увлекалась и не была знакома с нездоровой литературой.

Кроме того, в этом случае наблюдается любопытная смесь необычайной чувствительности и силы воли. Решения ее внезапны, но не импульсивны. Она реализует их с изумительной хитростью здравомыслящего безумца. Она не «ушиблена» театром и легко разрывает пути слишком строгого воспитания, однако совершенно неожиданно отказывается от всего ради одной необычной страсти; и страсть эта уникальна. Красной, немигающей

звездой пылает она. Других для нее не существует. Однако называть ее *felo de se* едва ли справедливо: но кто же она тогда? Вынести вердикт «самоубийство на почве временного помешательства» в ее случае невозможно.

Наверное, можно сказать, что она была безумной всю жизнь. И тот же рок, что привел ее к одному, привел ее и к другому. Признать это ужасно, но, похоже, некоторым людям предопределено наложить на себя руки. Жизнь ее была вспышкой, языком пламени, и она все равно сгорела бы без остатка при любых обстоятельствах.

Поэтому не будем осуждать ее. Лично я испытываю глубочайшую жалость.

СВЯТОЙ ВЕНАНЦИЙ НАШИХ ДНЕЙ

— Ну так, — произнесла княгиня Фаустина, обращая великолепные томные глаза к лицу своего *cavaliere serviente*¹ Эгидио ди Рещи, — это совсем дурное представление. Не то, что цирки древности! Там львы, по крайней мере, пожирали человека. И это, наверное, было гораздо интереснее. А здесь он управляет ими при помощи грубой силы и хлыста.

— Да, — тихо ответил дон Эгидио, — жаль, что мы не можем возродить порядки древнего Колизея.

— Но мы можем, — возразила она. — Взгляните на этого юношу — того высокого, красивого, светловолосого, — разве не прелестно было бы увидеть, как львы разрывают его на куски? Право, он похож на христианского мученика.

Злоба, точно мрачный огонь, зажглась в глазах дона Эгидио.

— Да, было бы занятно посмотреть, как эти изящные члены кровоточат, разодранные в клочья.

— Что ж, — сказала княгиня, — это легко устроить, если вы спуститесь вниз и передадите владельцу цирка — я имею в виду Франкотелли, — что мне хотелось бы увидеть этого мальчика в львиной клетке: и что за такое представление я готова заплатить десять тысяч франков — или даже больше, если необходимо. Но начните с десяти тысяч. Он не станет возражать против того, чтобы участник его трупы вошел в клетку к хищникам, и может даже подумать, что львы его не тронут. Ведь у него хлыст, и он силен. Но он лишится своего преимущества, и звери разорвут мальчишку на куски, я в этом уверена.

Выражение злобы исчезло с лица дона Эгидио, и оно снова стало кротким и ласковым.

¹ букв. «кавалер в услужении», в Италии девятнадцатого века любовник, связанный с дамой сердца определенными куртуазными взаимоотношениями и обязанный выполнять любые ее прихоти.

— Моя дорогая Фаустина, — ответил он, — то, что вы предлагаете, до крайности жестоко. Кроме того, не забывайте, что мы живем в девятнадцатом веке: Рим уже не тот, что был.

— Нет. — Ее несравненное лицо оживилось от возбуждения. — Мне этого хочется: если вы не выполните моей просьбы, я больше не буду встречаться с вами. И потом, — добавила она, обвиняя его шею своей восхитительной рукой, — вы и сами сказали, что это зрелище доставит нам наслаждение.

Он вздрогнул и вышел из ложи.

Франкотелли не был злым человеком. Себя он считал щедрой душой после того, как усыновил найденыша Венанцио. Возможно, он и не задумывался над тем, что Венанцио, чье содержание не стоило особых затрат, заработал для него гораздо больше, чем его собственные дети вместе взятые. Акробатическим трюкам он обучился почти по наитию. Сальто он крутил лучше, чем кто бы то ни было, и без страха перелетал с одной трапеции на другую. Представление держалось практически на нем одном.

Жена Франкотелли тоже была по-своему добра: она с готовностью отдавала Венанцио крошки после того, как ее собственные дети, насытившись, вставали из-за стола. Они-то, трое сыновей Франкотелли, и были его настоящими мучителями. Они ненавидели его за то, что в цирковом деле он был лучше их, а еще за одухотворенное, экстатическое выражение его лица, столь отличавшееся от их физиономий, несмотря на то, что везде его называли их братом. У них — у Пьетро, Липпо и Луиджи — были жесткие волосы и низкие лбы, и неудивительно, что мальчик с шелковистыми белокурыми волосами и небесно-голубыми глазами стал объектом их ненависти.

Правда, Франкотелли никогда не бил Венанцио, просто потому, что тот не давал ему для этого повода и с легкостью обучался любым акробатическим трюкам; своих же детей владелец цирка частенько поколачивал за их ошибки при выполнении гимнастических упражнений; но и у него невинное, восторженное

лицо Венанцио неизменно вызывало отвращение. Ведь все свое свободное время Венанцио отдавал молитвам. Однажды, еще ребенком, он сказал себе: «Что ж, петь и играть на музыкальных инструментах я не могу. Но кувыряться я умею лучше всех. Разве не угодны будут Богоматери мои кувырки?» И как-то раз его действительно застали в часовне церкви Санта Мария Маджоре, где он крутил сальто перед алтарем. С тех пор безжалостные его сверстники прозвали его «il tombio della Madonna» и «arlecchino della chiesa»¹. Он спал в одной комнате с другими детьми. Когда по вечерам Венанцио предавался молитве, они швыряли в него ботинками и чем попало. Однако он будто и не замечал этого. А когда их смаривал сон, он начищал их ботинки и ставил их у кровати каждого. У бедного маленького Венанцио не было своих ботинок — лишь цирковые тапочки, в которых он выступал на арене. Однако это не умаляло их злобы. И хуже всех относился к нему Луиджи, которого однажды Венанцио спас от неминуемой смерти, прыгнув за ним в реку и вытащив на берег.

* * *

Дон Эгидио сказал Франкотелли:

— У княгини Фаустины появилась необычная прихоть. Она желает, чтобы вон тот юноша (он указал на Венанцио) вошел в клетку ко львам. Смею думать, с ним ничего не случится. Прихоть же княгини должна быть удовлетворена.

— Что? Мой сын? Нет! — вскричал Франкотелли. — О таком я даже и не слыхивал!

— Однако она предлагает вам десять тысяч франков во удовлетворение ее прихоти. Более чем вероятно, что львы его не тронут.

— Давайте говорить без обиняков, — сказал Франкотелли. — Честно вам признаюсь, Венанцио не моя плоть и кровь. Своему собственному ребенку я бы ни за что не позволил войти в клетку ко львам. Но поймите, если с ним что-нибудь случится, я потеряю большие деньги. Ведь он — лучший исполнитель в моей труппе.

¹ «прыгун Богоматери», «церковный шут» (итал.)

Одним словом, меньше, чем на тридцать тысяч франков я не согласен.

Дон Эгидио задрожал: на лице его отражалась то жалость, то жестокость.

— Хорошо, — сказал он наконец, — я дам вам сорок тысяч. Получите.

Франкотелли подозвал Венанцио.

— Я хочу, чтобы ты вошел в львиную клетку. Знаю, прежде ты этого не делал. Но львы совсем ручные. («Боже! какие там ручные», — услышал дон Эгидио его бормотание).

— Да, конечно, — ответил Венанцио. — Почему бы мне туда и не войти? — И он, одетый в свой костюм арлекина, удалился.

Желтоватые глаза княгини расширились, загоревшись тигриной лютостью.

Юноша вошел в клетку: публика удивленно и испуганно засытла на своих местах. Вопреки ожиданиям, лев и львица приблизились к нему, ласково потерлись об него, а затем улеглись и принялись лизать ему ноги, а он гладил их по спине. Публика разразилась бешеной овацией. Многие были бледны.

— Выходи, Венанцио; этого достаточно, — приказал Франкотелли: он так нервничал, что забыл запереть клетку.

А Венанцио предстоял самый известный его номер — полет живого ядра, когда им выстреливали из огромной пушки.

— В самом деле, — разочарованно произнесла княгиня, — разве найдешь развлечение в наши времена? Мерзкие зверюги оказались ручными!

— Нет, они не приручены, — возразил изумленный дон Эгидио.

— В самом деле, — повторила она, — вы могли бы управиться и получше. Все же я подожду ссориться с вами, ибо надеюсь, что какой-нибудь несчастный случай произойдет при выстреле. Если мальчишка все-таки умрет, это будет забавно, хотя вид крови был бы гораздо лучше.

И вот Венанцио вылетел из пушечного жерла. Он часто выполнял этот трюк. Но на сей раз его ослепил необыкновенный

золотистый свет, и он, вытянув руки, помчался к нему — намного дальше трапеции, за которую ему надо было зацепиться. А затем рухнул вниз — бездыханным!

— Вот видите, — произнесла Фаустина, — хоть какое-то развлечение!

И тут на арену из плохо запертой клетки вырвались львы. Подбежав к упавшему телу, они уселись по обеим сторонам. Публика в ужасе бросилась к выходу. Началась невообразимая свалка. Франкотелли попытался загнать львов обратно в клетку. Но едва он приблизился к хищникам, они зарычали и бросились на него, так что ему пришлось спасаться бегством.

— Ну что ж, — томно произнесла Фаустина, — раз уж все разбежались, то и нам лучше уйти.

— Нет, — сказал Эгидио, — это моя вина, и ваша тоже! Хотя вряд ли вы, подобно мне, испытываете угрызения совести. Мне кажется, пребывание в львиной клетке подействовало на бедного мальчугана, и он не смог рассчитать свой прыжок. Это мы стали причиной его смерти.

Какое-то время они молчали. Ложа Фаустины была недостижима для львов, поэтому она могла спокойно ждать, когда уляжется давка. Дон Эгидио, чье лицо отразило совершенно несвойственное ему выражение, проговорил:

— Фаустина, я ненавижу вас! И думаю, всегда ненавидел. Я — чудовище; но вы хуже меня во сто крат! По крайней мере, я постараюсь искупить свое злодеяние. Сейчас я спущусь на арену, чтобы львы, которым я отдал невинную жертву, разорвали меня в клочья. Мой грех слишком велик, чтобы я мог рассчитывать на прощение!

— И вы говорите о *грехе*! — вскричала Фаустина. Но его уже не было. Он спустился на арену; ему показалось, что вокруг головы Венанцио лучится святое сияние. Он упал к ногам юноши и прильнул к ним губами, проливая слезы впервые за много лет. Львы не шевелились. Они просто стояли по бокам, охраняя тело. Ободренные этим, люди, в основном те, что были неспособны бежать, подоברались к телу, притрагиваясь к нему и также видя чудный свет.

— Miracolo! — воскликнула одна старуха, отбрасывая в сторону свои костыли. — Я хожу!

— Miracolo! — вторил ей глухой. — Я слышу!

— Тогда, возможно, и для меня найдется прощение, — прошептал дон Эгидио. Он так и оставался распростертым рядом с телом, которое никто не мог убрать, ибо львы отгоняли каждого, кто пытался это сделать.

На следующее утро Эгидио нашли мертвым, лицом вниз, у тела юноши. Львы, охранявшие тело Венанцио, снова стали послушными и сами вернулись в клетку, когда его унесли с арены.

ИСТОРИЯ НАПЛЕЧНИКА

В мире снисходительно утверждают, что в молодости мы — Бернар и Франциск — были беспутными повесами. Еще бы беспутными! — Развратными и порочными, точнее сказать. Но не всегда мы были такими. При первой нашей встрече мы беседовали в основном о религии. Что же случилось? Прочли ли мы в глазах друг друга скрытую развращенность?

Сначала мы говорили об этом нерешительно, потом откровенно, а в конце перешли на шепот.

Есть такой разврат, о котором в мире стараются не упоминать, а если и упоминают, то в полслова и затаив дыхание. Есть и другой разврат, ниже которого пасть уже нельзя и о котором в миру ничего не известно, — дай Бог, чтобы так было всегда!

Я причинил зло Бернару. Учитывая наши отношения, видя, что добро и зло для нас одинаково не имеет значения, — как удалось мне оскорбить его столь сильно? Грех наш не имел ничего общего с чувствами. Он был груб и хладнокровен. Как же такое чувство, как ревность, могло возникнуть в сердце Бернара?

Мы оба были богаты и обладали немалыми средствами для удовлетворения наших жутких похотей.

Бернар имел в своем доме роскошную турецкую или, скорее, римскую баню.

И хотя все религиозные догмы и ограничения были полностью нами отвергнуты, чем объяснить — остатками ли религиозности, суеверием ли, богохульной шуткою — то, что мы по-прежнему носили наплечники кармелитского братства?

В *тот* день мы были в бане — свидетельнице самых диких наших оргий. Я лежал на диване. Я сказал:

— Бернар, у меня кружится голова.

Он ответил:

— Выпей вина, дорогой, — и, налив бокал, передал его мне.

Внезапно мое нутро пронзила резкая боль, тело мгновенно покрылось потом. Я понял — то был стрихнин, мне доводилось уже принимать чрезмерную дозу этого вещества.

После короткого обморока ко мне вернулось сознание, и первым, что я увидел, были глаза Бернара, глядящие на меня с неприкрытой ненавистью. Но он же простил мне все то зло, что я причинил ему: он сам это сказал. Я думал, он любит меня. Но тут понял, что ошибки быть не может.

— Бернар, — взмолился я, — ради Бога, подай мой наплечник.

— Ради Бога? — переспросил он. — Какого Бога ты имеешь в виду? Наверное, Эроса; но вряд ли он спасет тебя, когда лежишь ты здесь, «как овца в преисподней, и смерть пирует на костях твоих».¹

Боль снова пронзила меня.

— Бернар! — прохрипел я. — Заклинаю тебя именем Богоматери — подай мне наплечник!

— Именем Богоматери? Полагаю, ты имеешь в виду Венеру Либитину; скоро ты будешь в ее власти.

И меня скрутила еще одна судорога.

* * *

Все было черным; тьма казалась почти осязаемой. Я поднялся и попытался шагнуть. Видеть я не мог. Я шел и шел вперед, не ведая, на что ступает моя нога. Так это и была Преисподняя.

Через некоторое время темнота изменилась, нельзя сказать, что стало светлее, — появилось слабое зеленое мерцание. Я услышал нечто похожее на пение: и вправду пение! Я не в силах описать его. Нечто монотонное, полное дурного отчаяния. Внезапно я обнаружил себя в окружении фигур и лиц. Уродливых, зеленых, отвратительных лиц с тусклыми мертвыми глазами; вязкая зеленая слизь была на их губах. Распевая, они разевали рты и показывали страшные зазубренные клыки.

1 Искаженная цитата из Псалтири, Пс. 48, 15.

О, лучше тьма! Я все бежал сквозь тьму, и ужасная жажда па-
лила меня.

Что бы я только ни отдал за каплю воды — освежить язык!
Внезапно впереди показался пиршественный стол, за которым
утоляла жажду какая-то компания. Дадут ли они мне отпить хоть
глоток? Я был в отчаянии, я готов был умолять их. Когда я подо-
шел ближе, до меня донесся гнусный смех. За столом пировали
люди, одетые в древнеримские тоги.

Присмотревшись, я увидел — то были не люди, а скелеты: с
черепами вместо лиц. Но глаза были живыми — ужасные глаза.
Во главе стола сидел один в черно-желтых одеждах со странным
зигзагообразным узором. Голову его венчали огромные бычьи
рога. Он отбивал дьявольский ритм на стоявшем перед ним ба-
рабане. Остальные подпевали, словно бы участвуя в каком-то
ужасном языческом обряде.

Однако меня терзала жажда.

— Дайте мне пить! — крикнул я. — Я умираю от жажды!

Один из скелетов в усмешке приоткрыл безгубый рот.

— О, нет, здесь не *умирают*.

Другой, одетый изысканнее остальных, в длинном завитом
парике, отозвался с жутким женским смешком:

— Наше пойло придется тебе по вкусу, — и передал мне бокал
непристойной формы. Я сделал несколько жадных глотков: жид-
кость обожгла мое нутро: меня стошнило, и рвота вспыхнула на
полу жидким огнем!

Я снова побежал: что было хуже — внешняя тьма или эта ком-
пания?

Затем я увидел нечто белое, за которым гналось нечто тем-
ное. Белым оказалось юное создание, темным — ужасное суще-
ство в отвратительных лохмотьях.

Белая фигура бегала по кругу, а черная тварь ее преследовала.
Время от времени этой удавалось схватить ту. Тогда белое созда-
ние в гневе поворачивалась к преследователю, из глаз ее выры-
валось тусклое красное пламя. Они начинали кусать и рвать друг

друга: пока белое существо опять не пускалось в бегство, и все повторялось заново.

Однажды темная тварь повернулась ко мне, и я увидел — *свое лицо!*

Это было ужаснее всего. Уж лучше бы я оставался во внешней тьме. Я метнулся туда и лег там.

Внезапно на меня что-то навалилось — существо, похожее по очертаниям на человека (видеть его я не мог), но покрытое липкими щетинистыми волосами, со свиным запахом. Оно обхватило меня и крепко прижалось. Тело его приникло ко мне.

О, что за боль!

Вот какое наказание мне ниспослано — вовеки.

Свет! Наконец-то свет! едва заметный, потому что мерцала всего лишь одна звезда. Я поплыл к ней. Вода была невероятно соленой. Скорее клей, чем вода. От нее исходил запах смолы и серы. И я знал, что это было Мертвое море. Я был у самого берега, достичь которого тщетно пытался. На берегу росли фруктовые деревья, но плоды их падали один за другим и, разбиваясь о землю, обращались в пыль.

Звезда сияла все ярче и ярче: нет, я был уже не в Преисподней. Здесь появилась видимость надежды. Во внешней тьме я напрасно пытался вспомнить имя Иисуса или Марии. Теперь же я изо всех сил кричал:

— О, звезда морей, спаси меня!

На меня нахлынуло чувство невыразимого благоговения. Я действительно вырвался из Преисподней. Ко мне по воде приближалась фигура. Лунное сияние источала она. Облаченная в белые, расшитые золотом одежды, она была выше дочерей земли. Голову ее украшала золотая корона, усыпанная жемчугами. Поначалу ослепительный свет, исходивший от нее, не позволял мне увидеть лицо. Но потом я уловил мимолетный образ. Ее божественные глаза, полные сострадания, обратились ко мне.

В руках она держала наплечник. С уст ее слетели слова, хотя не думаю, что она произнесла их:

— Что мною сказано, то сказано. Тот, кто носит мой наплечник, не умрет в смертном грехе. Примиришь с Господом. Ступай и не греши!

Я лежал на диване. Наплечник покрывал мою шею: и Бернар держал меня за руку.

Вряд ли узнали бы люди, даже если бы назвали им имена, в двух братьях-кармелитах, которых, к моему неудовольствию, ставят в пример послушникам как настоящих аскетов, а именно в отце Франциске и отце Бернаре, — ибо мы сохранили эти имена, так как их носили святые, — тех двоих, кого в миру снисходительно называли «беспутными повесами» Бернаром и Франциском.

Кто я, рассказчик, — несущественно. О себе упоминаю лишь для того, чтобы подчеркнуть — монах не поведал бы мне эту историю и не показал бы рукопись, если бы я не имел права знать. В своем рассказе я упустил как можно больше имен: те же, без которых нельзя было обойтись, англаизированы. При переписке текста я также намеренно скрыл географические названия. Достаточно сказать, что все описанные мной события происходили не в Англии.

Как-то раз при посещении картезианского монастыря отец гостиничный знакомил меня с бытом общины. У каждого монаха имелся отдельный домик на четыре комнаты; все строения располагались вокруг большого квадратного двора; один из домов пустовал. Это удивило меня, так как домиков, расположенных вне монастырского двора, было мало; я спросил, отчего дом никем не заселен. Гостиничный ответил, что в том доме произошло нечто ужасное, и поэтому никто не хочет там селиться. Я продолжал свои расспросы (ибо вел официальное, порученное церковью расследование):

— Вы должны рассказать мне об этом. Я знаю, что вы, монахи, соблюдающие обет молчания, придаете своим словам большое значение, когда нарушаете его.

— Что ж, — произнес гостиничный, — поскольку нашему ордену предписано соблюдать обет, мне придется говорить от лица всей общины; я постараюсь, как могу, изложить всю историю, хотя, возможно, кому-то из остальных удалось бы это лучше, ибо я отвык говорить.

— В той келье, — продолжал он, — скончался брат Генри, точнее, брат Майкл. Вам известны наши порядки — мы можем разговаривать лишь по воскресеньям, когда между обедней и вечерней

нам позволено беседовать на духовные темы. Так вот брат Майкл поражал нас своими изумительными познаниями, хотя и был самым молодым среди нас. Один день в неделю мы отводим отдыху; в этом монастыре такой день — четверг. В послеобеденное время нам разрешено прогуливаться по сей обширной территории и беседовать на свободные темы. Полагаю, вы понимаете, что из объяснимого волнения мы, в основном, рассказываем друг другу о днях, прожитых в миру, или играем в детские игры. Самым робчливым среди нас был брат Генри. Я называю его так, потому что это было его мирское имя, которым он пользовался по четвергам. Генри забавлял нас множеством рассказов о своем детстве, но о некоторых периодах своей жизни никогда не упоминал. Помнится, однажды мы говорили об именах, избранных нами в монашестве, и кто-то спросил его, почему он выбрал имя Майкл. Станным образом вопрос взволновал его, и со своей милой улыбкой он ответил: «Я предпочел бы, чтобы вы называли меня Генри, ибо это мое христианское имя; имя Майкл я выбрал потому, что...»

Внезапно он замолчал и отклонился назад, точно его придушили из-за спины; но затем, овладев собой, произнес: «Мне что-то нездоровится, но это пустяки. Пойдемте нарвем цветов для сада. Наверху сейчас цветут прекрасные цикламены, побежимте за ними».

Вы можете, конечно, подумать, что такое поведение недостойно монахов; но вам известно, как мы живем, и в часы отдыха мы становимся сущими детьми. Мои слова могут показаться вам тривиальными и неуместными, однако это все же требовалось разъяснить.

Итак, на следующей неделе меня назначили звонарем. В полночь я пошел звонить к заутрене. Однако едва мои пальцы коснулись веревки колокола, как до меня донесся жуткий вопль из домика Генри — настолько жуткий, что я зазвонил в набат и, нарушив правила молчания, рассказал братьям о том, что услышал. Мы вбежали в келью Генри и нашли его лежащим на полу и изрыгающим ужасающие богохульства. Соблюдая обет молчания,

мы научились понимать друг друга по выражению глаз. Я говорю это, чтобы подчеркнуть немаловажную деталь: мне было ясно, что остальные видели и слышали то же самое.

Конечно, мы были совершенно потрясены, и даже более того. Приблизившись, чтобы помочь брату Генри (соблюдая при этом строгое правило молчания), мы почуяли в комнате странное присутствие — тонкий, специфический аромат наполнил воздух; то была, кажется, смесь жимолости, туберозы, специй и ладана, вгонявшая в сладкую истому. Мы не могли пошевелиться. Казалось, вокруг зазвучала тихая, едва уловимая музыка. Но тут в дом вошел наш безгрешный аббат, и наваждение исчезло. Мы ничего не узрели воочию. Но по глазам других монахов я видел, что они видели то же, что и я, — тем, что святая Тереза называла «умственным зрением». Мы видели нечто, несравненно прекрасное; сотканное из розового и фиолетового света, с прожилками серебра. Оно заговорило. Я знал, что все понимают его.

— Я Рафаэль, исцеление Божье. Брату Майклу угрожает смерть; он излечится, только если вы бросите в огонь ту рукопись, что лежит на столе.

Услышав это, несколько монахов бросились к рукописи, чтобы уничтожить ее, но аббат произнес:

— Нет! — и спросил:

— Кто ты, чтобы говорить во имя Господне?

— Я Сын Божий, — сказала оно. — И еще прошу: в церкви есть картина, купленная братом Майклом, с изображением сцены Распятия. Она тоже должна быть уничтожена, ибо являет собой искушение сатанинское.

В то мгновение меня поразило то, что при упоминании о Майкле сладкий, шепчущий, нежный голос зазвучал язвительно, а при слове «сатанинское» в нем словно бы отозвалось эхо ужасного хохота. Аббат промолчал, но подозвал одного из братьев, и они вышли. Вскоре они вернулись: один с факелом, другой — с дароносицей. Едва они вошли, сладкая истома вокруг рассеялась. Аббат принял дароносицу в руки. Брат Генри открыл глаза и приготовился причаститься. Подняв руку, он указал на стол и

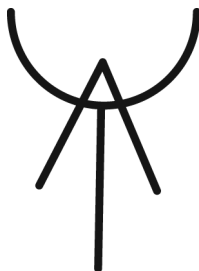
произнес: «Прочтите!» Это было все. Прияв дары, он откинулся на спину, и мы поняли, что он скончался!

Мы забрали рукопись, которую я собираюсь показать вам. Как вы увидите, она заканчивается на полуслове. Просматривая текст, мы обнаружили постскриптум красными чернилами, написанный другим почерком, оригинальным и четким, с наклоном влево. Но написан он был на совершенно неизвестном нам языке. Я помню точные слова:

«JÀ ULI GAVRÉLA JÉ AL JÉ MÀ ZHELE SÉVAL JÀ».

Вместо подписи там красовалась вот такая монограмма. — Он достал бумагу и карандаш. — Затем она исчезла без следа. Видите, вот сама рукопись; но постскриптум исчез; однако монограмма так взволновала меня, что я, думаю, смогу восстановить ее по памяти.

Он начал рисовать и вывел это:



но тут вдруг его рука внезапно безвольно упала, скованная необъяснимым параличом.

На меня снизошло неожиданное озарение. Я повел его, а вернее сказать, потащил в притвор церкви, где в простой раме висело изображение Распятия. С первого взгляда сцена, запечатленная на ней, внушала ужас; каждая пора сочилась кровью; на раме была надпись тем же почерком, что и в рукописи: «И не был красив и желанен людям». Чуть ниже: «И почитали Его, как прокаженного, — Того, кто был поражен Богом». И в самом низу

изящным почерком: «Се муж скорбей и издевавший болезни; ранами Его исцелились»¹.

Я снова взглянул на картину. Да, фигура ужасала — но глаза были божественны и исполнены бесконечного сострадания. Я приложил парализованную руку гостиничного к стопам Господним, и она исцелилась. Мы оба пали ниц и долго молились. Затем он отдал мне рукопись, каковую и привожу.

Рукопись
Знание; Богатство; Власть

Мне казалось, что ничьи знания на свете не могут сравниться с моими. Я в совершенстве овладел алгебраическим анализом; но он только раскрыл передо мной такие понятия, которых я мог лишь коснуться, но не постигнуть. Я жаждал большего. И вот погрузился в уныние, ибо познал все, что могло быть познано. В руке моей был компас, вокруг были разбросаны инструменты. Над моей головой висел квадрат, заключающий в себе формулу одной из самых трудных математических задач, для которой я нашел решение. В ногах устало и неподвижно лежала собака. Я встал и посмотрел в окно на море. Еще недавно море очаровывало меня больше всего на свете, — теперь же оно выглядело тусклым и безжизненным. Странные отблески блуждали по волнам, и временами их застилало что-то темное. Даже скалы, с их зубчатыми кривыми контурами, стали для меня отражением интегральных вычислений. Я пожегся и затворил окно; воздух леденил.

— Что мне с этого? — задумчиво промолвил я. — Будь моя воля, то отдал бы все свое знание за простую веру юных лет!

Богатств мне хватало — хотя и не до такой степени, чтобы осуществить свои мечты. Я обладал относительной властью — но не в том объеме, к которому стремился.

— Но есть одна вещь, которой мне не хватает. Я имею в виду любовь. Да, вот причина, по которой море выглядит безжизненно, а скалы — математическими кривыми.

¹ Ис. 53, 3-5.

Только что я изобразил на грифельной доске купидона, решающего математическую задачу, с парой уравновешенных весов за спиной. Этой картинкой я хотел изобразить состояние своего ума. Вероятно, я не умел любить. Я все время взвешивал свои эмоции, просчитывал их, анализировал. И не находил красоты, которая могла бы удовлетворить мое стремление к идеалу.

И пока я так размышлял, воздух в комнате постепенно наполнился благовонием. То была странная, восхитительная смесь запахов жасмина, жимолости, ладана и специй. Затем передо мной возникло слабое мерцание, сплетенное из розовых и фиолетовых нитей света и окаймленное серебром, которое, казалось, и источало аромат. Затем сияние усилилось, и в центре появилось видение, бесподобно, абсолютно прекрасное. Обнаженная фигура напоминала греческого Гермафродита. Но сколь прекраснее! Все лучшие черты обоих полов слились в этих чудесных линиях. Лицо покоряло фантастической красотой. Длинные волосы имели бронзовый оттенок, пронизанный нитями золота. Рот обещал томление и сладость. В темно-лиловых глазах застыла бесконечная печаль.

Оно заговорило. (Не знаю, говорило ли оно по-настоящему, так как все сказанное им, скорее, возникало в моем уме, чем приходило с речью, но все же я слышал чарующий человеческий голос, сопровождаемый отдаленной музыкой):

— Я обладаю абсолютным знанием. С ним вы могли бы стать как боги, разбирающие между добром и злом. Мне принадлежат все богатства земли, и вся власть в этом мире дана мне, — (здесь в его голосе появились издевка и пренебрежение). И я (голос исполнился бесконечной нежностью), — серафим; жизнь моя — любовь. Взамен я прошу лишь немного любви. Моя милость распространяется на тысячи тех, кто любит меня. Моих детей, избранных, кто поклоняется мне; детей моих, избранных среди избранных рода человеческого, чей разум способен понять меня.

— Кто ты? — спросил я.

— Я Сын Божий, — отвечал он. — Тот, кто ради спасения людей спустился на землю с небес и кто из любви к людям уже никогда не возвысится вновь.

— Как люди называют тебя? — спросил я.

— Они называют меня по-разному, — отвечал он. — Многие зовут Шайтан, враг; мои поклонники — Светоносный (его голос вновь зазвучал издевкой и пренебрежением). — Наши истинные имена хранятся в тайне. Люди называют Его Иеговой или Адоннаи, но на самом деле его зовут...

И он громко, с насмешливым смехом открыл мне имя, которое не осмелился бы произнести ни один смертный. И снова голос его стал нежным:

— Меня же зовут...

Он изрек еще одно имя, состоявшее из одних гласных; оно было перевернутым отражением другого имени, и последняя гласная превратилась в долгий вопль страдания.

При произнесении первого имени меня охватил ужас; при звуке второго я испытал бесконечную жалость и влечение. Он придвинулся ко мне и, заключив в объятия, поцеловал. Каждый нерв моего тела затрепетал от наслаждения. Затем видение незаметно стало сновидением; я уснул, но голос по-прежнему звучал. Он поведал мне длинную историю вселенной; как она была создана злым божеством, и как *он* стал Спасителем, и что все прекрасное на земле было сотворено им, и что если бы он получил помощь тех, кого хотел облагодетельствовать, мир снова пришел бы к первоначальному порядку, а ему досталось бы законное наследство. Затем голос стал печальнее прежнего:

— Есть другое существо, которое люди называют Спасителем, — и в нем зазвучали жалость и глумление. — Он страдал всего несколько часов, а я терзаюсь вечность. Однако мое сострадание коснулось и Его. Я предложил Ему все царства земные, если бы Он только поклонился, ибо я желал любить Его, как люблю тебя. Ныне тем крестом, на котором Он был распят, увенчаны короны, во имя Его растаптывают людей. Я же утешитель страждущих — друг бедных и униженных. Убежище грешников — место мудрости; утренняя звезда — предводитель ангелов. Я оставляю тебе знак, чтобы доказать, что был у тебя. — И нечто было вложено

мне в руку. Голос продолжал, и сквозь сон некий адрес запечатлелся в моей памяти. Я услышал приказ:

— Покажешь это при входе. Будь там в следующую пятницу в три часа. Сделай все, о чем тебя попросят и воистину, не останешься без вознаграждения!

Мною снова овладело восхитительное чувство томления, и я погрузился в глубокий сон без сновидений. Пробудился я на следующее утро, свежий и отдохнувший.

«Какой странный сон», подумал я и тут обнаружил в руке небольшой предмет. Это был серебряный диск с начертанной на нем странной монограммой. Несколько дней я не знал, что делать. Я упоминал, что потерял веру еще в детстве. Так отчего бы не пойти? Мое любопытство и тяга к знанию были непреодолимы. Однако детская вера возвратилась. Каждый раз, когда я проходил мимо церкви, что-то неодолимо тянуло меня зайти внутрь. Но как только моя нога ступала на порог, мною овладевало оцепенение, и я не мог войти, так что пришлось избегать церквей. В следующую пятницу я решился.

Я постучал в дверь по указанному адресу и показал привратнику диск. Рядом с домом ждал закрытый экипаж с упряжкой белых лошадей. Ко мне тут же вышли двое мужчин со словами:

— Мы ожидали вас.

Прежде чем я успел разглядеть их лица, мне завязали глаза желтым шелковым платком, от которого исходил странный, волнующий запах, и помогли сесть в экипаж. Я чувствовал, что сопротивляться бесполезно. Никто из спутников не произнес ни слова. Лошади неслись чрезвычайно быстро и при этом не издавали ни звука. Наконец, экипаж остановился.

Меня провели по нескольким пролетам лестницы, после чего повязку сняли. Я находился в часовне. В воздухе стоял знакомый аромат жасмина, ладана и жимолости. Запах, казалось, исходил от множества расставленных по всему помещению черных свечей и канделябров, горевших розовым огнем. Они давали так мало света, что я почти не различал других людей, собравшихся здесь.

Алтарь, покрытый дорогой материей, был выполнен в форме свернувшегося змея. На нем было установлено шесть черных свечей, горевших ровно и ярко. В середине возвышалось бронзовое изваяние, изображавшее явившегося мне духа: с большими распростертыми крыльями, цвета серебра и роз. В левой, поднятой вверх руке он держал яркий светильник, в правой, опущенной вниз, — рог изобилия. По бокам его находились две небольшие статуи — справа Ваал, слева Астарта, в ужасающе непристойной позе. В середине, между ног изваяния, располагалась жуткого вида статуя Молоха с топором в руке.

Часовня была богато украшена. На стенах висело множество картин, но мне удалось разглядеть только три. Они изображали историю Каина. На первой гордый, юный и красивый Каин предлагал в подношение плоды земли. На второй злобный, грубый Авель с кровожадной усмешкой закалывал ягненка, чьи глаза молили о жалости. На третьей картине Каин триумфально стоял над телом брата, и какой-то старик с гримасой нарочитого раздражения накладывал ему на чело печать в виде монограммы, которую я видел на серебряном диске. Тут в часовню вошел священник, сопровождаемый двумя необыкновенно красивыми прислужниками. Оцепенение овладело мною, я был не в силах пошевелиться, чувствуя приближение чего-то *ужасного*. Началась месса без пения, которую на незнакомом мне языке служил священник, облаченный в пышную ризу. Когда месса началась, слышалась странная музыка, исполняемая на скрипках и флейтах. Кто исполнял ее, было не видать. Мелодия была чарующе прекрасной и очень печальной. Ее приносило как бы порывом ветра, точно звуки эоловой арфы, и так же мягко она затихала. Священник приготовился прочесть послание, и музыка стихла. Он читал на незнакомом языке. Затем при звуках печального гимна два прислужника вынесли из-за алтаря нечто похожее на свиток еврейской Торы и развернули его перед священником, повернувшимся лицом к собранию. С изумлением узнал я в нем известного, очень богатого дворянина. Люди поднялись на ноги, но никто и не думал креститься. Я забыл упомянуть, что пол был

усыпан распятиями, но предназначение этого стало мне понятно позже. Священник вслух прочел отрывок из Книги, тогда как третий прислужник бросал зерна ладана на угли треножника перед алтарем. Когда подошло время зачитывать отрывок из Евангелия, я вдруг заметил сидящую на резном троне прекрасную смуглую женщину в черном одеянии. Голову ее венчала серебряная диадема, украшенная рубином необыкновенного блеска. На коленях ее свернулся змей, сиявший всеми цветами радуги. Женщина начала проповедовать или, скорее, пророчествовать на незнакомом языке. Собрание восторженно ей внимало; затем громко произнесло символ веры; в одном месте все принялись дружно топтать и плевать на распятия на полу. Вновь зазвучала музыка, и начался сбор пожертвований, как и во время обычной мессы. Остальная часть ритуала также соответствовала обычной мессе, если не считать отсутствия колокольного звона во время Санктуса. Прислужник вновь бросил ладан на треножник. Священник громко произнес на латыни: «Nos est corpus meum¹» и остальную часть освящения. Когда он поднял чашу с дарами, я заметил, что гости были черного цвета, с той же монограммой, отпечатанной на них. При вознесении чаши случилось самое страшное. В наступившей тишине змей соскользнул с колен женщины и вполз на алтарь. Там он пожрал одну из гостий и обвил кольцами остальные. Попробовав вина из чаши, он вернулся обратно. Месса продолжилась как обычно. В момент, сопоставимый с пением «Domine non sum dignus»², двое мужчин подхватили меня под руки так, что я не мог сопротивляться, подвели к алтарю и сняли с меня одежду. Священнику подали острый инструмент. Он дважды уколол меня, причинив острую боль: один раз под левой грудью, другой — в правую руку.

— Положи меня, как печать на сердце твое, — произнес священник, — как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь³.

1 Се есть тело мое (лат.)

2 Господи, я недостойн (лат.)

3 Песн. П. 8, 6.

Боль была секундной, и я увидел, что к обоим местам приложили монограмму. Меня облачили в надушенную мантию из мягкой материи, и другие прихожане начали приближаться к алтарной ограде. Все происходило в абсолютном молчании. Вино было ало, как кровь, изыскано на вкус. Выпив его, я почувствовал внезапный прилив сил. Причастившись, я ощутил то же восхитительное состояние, которое я пережил, когда мне было видение. Ваал и Астарта показались мне прекрасными; даже Молох, несмотря на ужасный вид, казался величественным и благожелательным. Вновь заиграла музыка. На этот раз ее сопровождали далекие голоса, певшие на незнакомом языке; однако теперь я понимал его. Это была литания: «О милосердный благой Боже, Спаситель человечества, Святой дух, человеколюбец, Утешитель страждущих, податель наслаждений, светоч вдохновения, обитель знания» и так далее, а собрание бормотало в ответ: «Помилуй нас».

Не могу сказать, как все кончилось. Мною овладел экстаз. Помню только, что я пришел в себя уже на улице, когда с глаз моих сняли повязку; двое мужчин вошли в дом, и экипаж умчался прочь. Я отправился домой. Но как моя походка стала такой легкой и пружинистой? Я зашел в кафе спросить дорогу, и увидел себя в зеркале — неужели это был я? Осталось лишь отдаленное сходство. Мое лицо помолодело и похорошело. Все смотрели на меня словно в удивлении. Я прошел через весь город без малейшей усталости, Я боялся, что меня не узнает прислуга, но меня не только узнали, но и передали книгу, кем-то оставленную для меня. Она была прекрасно переплетена и отпечатана, с эмблемой змеи, душащей орла, и надписью «APADNO». Я заглянул внутрь. Книга была написана на том незнакомом языке, который я странным образом научился распознавать, и состояла из нескольких евангелий, повествующих об истории вселенной и о нем, низверженном. В Приложении приводился метод преобразования всех металлов в золото; а далее объяснялся способ изготовления Эликсира жизни. Первый метод, оказавшийся донельзя простым, я однажды опробовал и добился полного успеха. Другой — никогда: он ужаснул меня. На форзаце книги были начертаны красным

несколько строк: «От меня ко мне. Взамен прошу лишь каждую пятницу приходить на причастие».

Так я и делал. Каждый раз повторялось то же самое. Никто не заговаривал со мной.

Наконец, однажды священник сказал мне:

— Вы должны прийти на Жертвоприношение. После этого вы станете полностью посвящены, и повязка на глазах будет уже не нужна. Приходите, — и он назвал тот же самый адрес, — за три часа до полуночи, в день летнего солнцестояния.

В указанное время я пришел к уже знакомому дому. У дверей стоял экипаж с белыми лошадьми. На стук почти сразу же появился священник. Поманив меня за собой, он, не говоря ни слова, уселся в экипаж. Лошади сразу взяли с места. Поездка была долгой, путь пролегал через просторные унылые поля, чье однообразие оживлял лишь случайный крик дикой птицы.

Наконец, экипаж встал у каких-то ворот, которые пропустили его и сразу затворились. Мы въехали на длинную аллею. Все вокруг казалось заброшенным и необитаемым. По пути экипаж вспугнул стадо задремавших овец. Над аллеей с печальным криком пролетела большая белая сова. Летучая мышь ударилась в стекло дверцы. В конце концов, мы подъехали к старинному замку, по виду необитаемому, лишь в окнах одной из верхних комнат, да на башне горел красный огонь. Дверь открыл молчаливый привратник. Поднявшись по длинной лестнице, я оказался в огромной, роскошно обставленной спальне с громадным камином, в котором пылало пламя. Воздух был тяжел от духоты и благовоений. Пол устилал мягкий, темно-красный ковер с густым, длинным ворсом. Таким же ковром, скрадывающим шаги, была покрыта и лестница. На стенах висели красные гобелены, украшенные великолепными узорами из золота и драгоценных камней. Над камином было изображение гибельного Молоха. В помещении была также огромная роскошная кровать и стол, на котором были разложены всевозможные сладости и расставлены графины с кипрским вином. Священник передал мне

наполненный бокал. Отпив глоток, я почувствовал, как первоначальный страх отпускает меня. В комнате находилось несколько молодых красивых прислужников, а также мрачного вида мужчина, закутанный в темную мантию мага. Священник был одет в обычную сутану. Все молчали, словно ожидали кого-то. Через некоторое время дверь открылась, и похожая на ведьму старуха ввела в спальню двух детей. На спине у нее была корзина с игрушками; у детей в руках тоже были игрушки. Женщина крадущейся походкой приблизилась к священнику и прошептала:

— На этот раз я приготовила для монсеньера вкусненький ку-сочек.

Священник молча отдал ей деньги — довольно значительную сумму, схватив их, старуха исчезла.

Это были явно крестьянские дети, видимо, брат с сестрой, — босые, чистенькие, румяные, опрятно одетые, на вид лет десяти-двенадцати. Оба миловидные; мальчик — старше и симпатичнее. То было воистину ангельское личико с небесно-голубыми глазами, обрамленное золотистыми блестящими волосами. Невинные создания выглядели очень напуганными и жались друг к другу. Священник был сама отцовская благожелательность. При виде его дети немного успокоились и ощутили, наконец, босыми ногами мягкий ворс ковра.

— Мои бедные крошки, — произнес священник, — что вас здесь так напугало? Как мило, что вы пришли повидаться с нами в это уединенное место; кроме того, у меня есть для вас небольшой сюрприз. Вы как раз те, кто мне нужен. Ведь ваш отец каменотес, не так ли?

Дети слушали его с открытыми ртами.

— Я хочу немного отремонтировать мою часовню, и мне кажется, что ваш отец смог бы выполнить эту работу лучше других. Передайте ему, что я щедро заплачу. Но постойте! Отнесите-ка ему это письмо вместе с первым взносом в надежде, что он начнет работу уже послезавтра. Видите, я вкладываю деньги в конверт.

Дети двинулись к нему, чтобы забрать письмо.

— Ах, милые мои, — сказал он, взяв их под руки, — я не могу отпустить вас отсюда с пустыми руками. Взгляните-ка, какие печенья и сладости.

С этими словами священник поцеловал мальчика в щеку, погладил девочку по голове и налил каждому по бокалу кипрского вина. Дети прониклись к нему доверием, ведь его обращение было таким ласковым. Они отведали сладостей и пригубили вино, которое им, видимо, понравилось. Затем они принялись щебетать и рассказывать священнику о своем первом причастии. Наконец, девочка призналась:

— Мы были очень напуганы, когда старуха привела нас сюда; мы не знали, что встретим здесь доброго священника. Но теперь нам страшно идти одним домой ночью.

— Неужели вы подумали, что я позволю вам уйти домой в такой поздний час? — отвечал священник. — Я обязательно прослежу за тем, чтобы о вас позаботились.

Внезапно лицо его изменилось. Оно стало похоже на морду дикого зверя, схватившего добычу. Зубами он впился в шею мальчика. Далее случилось то, о чем я не могу — не смею — рассказать. Девочка упала на колени и стала повторять:

— Kyrie Eleison! Christe Eleison! Kyrie Eleison!¹

— Умолкни, — рявкнул прислужник. — Будешь вести себя тихо, тебя не тронут.

Однако ребенок продолжал молиться:

— Sancta Maria, sancta Dei genetrix, sancta virgo virginum, ora pro nobis².

И так она произнесла всю молитву Божьей Матери. Когда она перешла к словам: «Agnus Dei qui tollis peccata mundi»³, священник сделал знак. Два прислужника подбежали к нему: один — с ятаганом, другой — с золотой чашей. Первый неожиданным движением перерезал мальчику горло, второй подставил чашу под струю крови. Тем временем священник взял саблю и, схватив за

1 Господи, помилуй! Христе, помилуй! (греч., лат.)

2 Святая Дева, Пресвятая Богородица, Матерь Церкви, молись о нас (лат.)

3 Агнец Божий, берущий на себя грехи мира (лат.)

волосы девочку, которая, стоя на коленях, шептала молитву, одним ударом отсек ей голову. С отвращением указав на обезглавленное тело, он произнес:

— Выбросьте это вон!

Прислужники открыли окно и выбросили в ров труп и голову. Я услышал два всплеска. После этого они вытерли кровь, выбросили в ров одежду мальчика и закрыли окно. Голову мальчика отделили от тела. Маг уже ожидал у небольшого каменного пьедестала; на этот алтарь возложили органы, вырезанные из тела подростка, и локон золотистых волос. Затем маг испарился через дверь, которую я прежде не видел, поднявшись по спиральной лестнице в верхние комнаты. Прислужник принес богато украшенный ковчег, наполненный солью, куда поместили голову мальчика. После чего чашу с кровью поставили перед камином. Откуда-то появился радужный змей и, скользнув вверх по чаше, начал лакать кровь. Тело мальчика было брошено в пылающий камин, после чего священник утомленно улегся на кровать. Я совершенно оцепенел от ужаса и не мог пошевелить ни единым мускулом. Мне казалось, что комната наполнится ужасным запахом горелой плоти, но этого не случилось. Зато из камина пошел густой синий дым, насытив воздух ароматами жимолости, жасмина, ладана и специй; он был прохладен и свеж, точно утренняя роса. Когда дым немного рассеялся, я увидел розовое сияние, одетое в серебро, из которого возник прекрасный образ, явившийся мне когда-то. Как и тогда, лицо его выражало нежность и бесконечную печаль. Прислужники пали ниц, однако я, ощутив прилив отваги, выступил вперед, чтобы обратиться к нему. Не дав мне произнести ни слова, он произнес:

— Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты считаешь, что я жесток. Но разве я не дал тебе мое евангелие? Разве не читал ты его? Неужели ты так мало понял? Неужели тебе неизвестен первый закон вселенной — без Смерти нет Света? Это закон Бога, не мой. Разве не требовал Он принести жертву в Своем храме, похожем на скотобойню? Разве не желал Он принести Исаака в жертву? Разве не распял моего соперника?

В его голосе зазвучало ликование.

— Он не может распять меня. Я бессмертен. Я дух, и поклоняюсь мне в духе и в истине.

И снова нежность появилась в голосе.

— Разве не целесообразна смерть одного ради благоденствия многих?

Я, запинаясь, произнес:

— Одного — но почему здесь двое?

— Она не предназначалась в жертву, — бросил он так зло, как я еще не слышал. — Она призывала имя Той, кто мне отвратителен. Как часто уязвляла Она меня Своей пятой; но скоро я воздвигнусь на Нее.

При этих словах он страшно захохотал.

— Однажды, — продолжал он, — в ужасе от этого имени, я придумал нелепую религию, которую теперь называют протестантством, и все кончилось тем, что поклонники ее отвергли мое существование. Но многие и по сию пору следуют моим заветам. Блажен тот, кто видит и знает!

Я пытался ответить, но у меня отнялся язык. Фигура росла, пока не достигла колоссальных размеров; розовый цвет превратился в пылающий огонь; в лицо нельзя было смотреть — оно сияло, как молния.

— Кто сей, оспаривающий мои приказы? — пророкотал он. — Мое царствие придет, и воля моя исполнится на земле, как и на небесах.

Ударил гром, и сверкнула молния, на миг ослепившая меня. Когда я открыл глаза, передо мной снова был прежний кроткий образ с печальным взором. Тот же нежный, сладостный голос произнес:

— Любящие меня следуют моим заповедям. Иди, лошади уже ждут.

Видение исчезло. Но сошел я вниз, принуждаемый другой силой. Экипаж ожидал у дверей; я сел в него; и он тотчас же тронулся. При этом зазвучала чудесная музыка. Я ничего не чувствовал, кроме восхитительного томления, и уснул, словно укачиваемый

любящими объятьями. Проснувшись, я обнаружил себя в своей постели.

Разбирая старый шкаф в своем доме, я обнаружил старинное резное распятие. Я решил отнести его наверх, чтобы рассмотреть поближе, когда внезапная дрожь сотрясла меня; распятие упало на пол и разбилось. В тот же миг я почувствовал знакомый аромат, и нежный голос произнес:

— Что Его мучения по сравнению с моими? Я страдаю вечно — Он же провисел на кресте три часа и тем прославился. Я страдаю из любви к человеческому роду. Никто не знает и не может знать, как я страдаю, — я, перворожденный сын Божий! Мои страдания никто не сможет живописать, а Его изображения повсюду.

— А сам бы ты мог это изобразить? — спросил я.

— Конечно, — с презрением ответил он. — Чья еще рука может это сделать? И разве я не был там? Разве я не видел? Возьми кисть и рисуй.

Я так и сделал. Ни одного движения от себя; рука моя металась влево и вправо, вверх и вниз, и картина появлялась перед глазами. Она была ужасна! Кровь сочилась из каждой поры. Все постыдные детали выставлялись напоказ. Тщедушная фигура вызвала презрение. Я приступил к лицу. Он было настолько обезображено, что не могло вызвать ни малейшего влечения. Но тут...

В этом месте лист как будто обгорел. Лишь надпись виднелась: «О, Христос милосердный!»

Строка была перечеркнута красными чернилами. И потом: «Ии...»

На этом рукопись обрывалась. Я спросил:

— Как он попал сюда и что он рассказал о себе?

— Он пришел к нам, — отвечал гостиничный, — босым и одетым в лохмотья, Он принес с собой картину, которую вы видели. При нем была большая сумма денег, которую он отдал аббату и умолил принять его в общину. Он попросил лишь, чтобы на время послушничества картина висела в его келье, каковое желание

было удовлетворено. Он выглядел бледным и больным; я знал, как жутко он страдал, но о ту пору я был единственный, кто приносил ему пищу и имел больше возможностей наблюдать за ним. Однако никакие страдания не отвлекали его от соблюдения малейшего правила нашего устава. Он никогда не рассказывал о себе — по крайней мере, о той части жизни, которая описана в этой рукописи. Постепенно он оправился и после пострига отдал картину в церковь. О его смерти я вам уже рассказал.

— Вы разрешите мне скопировать рукопись? — спросил я.

— Конечно, — ответил он. — Вы наш духовный наставник и можете делать с рукописью, что вам будет угодно. Однако да не будут сочтены за дерзость мои слова — я должен просить вас не публиковать ее, ибо это может привести к гибели многих душ.

КОНЕЦ

Примечание автора:

Сюжет рассказа навеян картиной Альбрехта Дюрера «Меланхолия».

КОРОЛЕВСКИЙ БАСТАРД, ИЛИ ТРИУМФ ЗЛА

Король продолжал защищаться:

— Нет, Ильма, я отношусь справедливо к Семпронии. Она ненавидит меня так же, как я ненавижу ее. Не могу описать, в какую муку превратилась моя жизнь. Могу сказать лишь одно; я всегда отношусь к ней вежливо и почтительно, а в ответ получаю грубость. Не думайте, что это мой отец заставил меня жениться. Когда бы так, я бы противостоял этому любыми средствами. Мне и так было известно, что если бы этот союз не был заключен, разразилась бы ужасная война; тогда как следует жертвовать собой ради других. Но, принеся себя в жертву единожды, неужто я обречен идти на жертвы и дальше?

Вы знаете, как я обожаю детей. Для своего ребенка я ничего не пожалею; а он будто инстинктивно избегает меня, хотя я всегда был добр к нему. Я исполнил свой долг по отношению к государству и произвел на свет наследника трона. У меня уже не будет детей с этой стороны. Но как же мне хочется ребенка, которого я мог бы называть своим. Как это жестоко — почти абсурдно, — что я, властитель, наделенный так называемой абсолютной властью, не имею своего уголка, где я мог бы насладиться миром и покоем среди тех, кого люблю. Я не притворяюсь, что не пребываю в самодовольной уверенности, что вы питаете ко мне ответные чувства; и поэтому пожалеете меня и не будете ко мне жестоки. Я, в самом деле, хочу многого от вас; но подразумевает ли это бесчестье? Мы должны вести себя так, как будто состоим в браке; я должен буду блюсти верность. Если что-нибудь произойдет с Семпронией, я публично, перед всем миром, объявлю о нашем браке.

— Молчите! — сказала она. — Не говорите так! Ничто не может заставить меня выйти за вас замуж. Дорогой мой, вы знаете, как остро я ощущаю позор. Но я понимаю ваше положение... Да... Я соглашусь стать вашей наложницей. Я девственница; ни один мужчина не подходил и не подойдет ко мне. Одно лишь условие —

от вас я не получу ни гроша. Разумеется, я не дойду до такого абсурда, чтобы заявить, что возвращу вам ваши подарки, как вот это изумрудное ожерелье; я бы не рассталась с ним, даже если бы умирала с голоду. Это не сам подарок — это даритель. Вы, кажется, не понимаете, как сильно я вас люблю. Видите вон ту большую вазу? В ней — лепестки всех цветов, которые вы когда-либо дарили мне. А в том ящике — каждый клочок бумаги, на котором когда-либо вы что-нибудь мне писали.

* * * * *

Когда Валентину исполнилось семь лет, король сказал:

— Он уже достаточно взрослый для титула. Как мы наречем его? Герцог..

Ильма ответила:

— У него не будет вообще никакого титула; даже того, что ношу я. Сожалею, что вы заговорили об этом.

Довольно необычно для властителя такой значительной страны, как Никосия, выступать в роли наставника маленького мальчика; но король не потерпел бы, чтобы того обучал кто-либо другой. Все свое свободное время он проводил на скромной вилле Ильмы, и, конечно же, его наставничество принесло добрые плоды. Он был человеком необыкновенной эрудиции, и мальчик учился у него с феноменальной быстротой. Тогда как его сводный брат, кронпринц Балдуин, несмотря на целый штат учителей — и самых лучших, каких можно было только нанять, — так ничему и не научился.

К моменту начала этого рассказа оба принца уже возмужали. Матерей их уже не было на свете. Король постарел, — вернее, преждевременно одряхлел под бременем обязанностей. Управлять делами Никосии одному было совсем нелегко.

Принц Балдуин, родись он в другом сословии, был бы человеком довольно незначительным и безвредным. Положение наследника трона сделало его в некоторой степени агрессивным, что так не нравилось многим. Не то чтобы у него был плохой характер; он был довольно обходителен, когда был в духе.

Ему нравилось брататься с лесниками и конюхами. Но даже они, его фавориты, не до конца доверяли ему, зная, что полюбившиеся ему слова в другой день он сочтет оскорблением. Себя он считал очень популярным, ибо на пирушках любил держаться со всеми запанибрата. Но популярным он не был. Сам же король действительно пользовался популярностью, ибо во многих отношениях облегчил народу жизнь. В самом деле, он практически избавил народ от рабства, что вызвало единодушную благодарность, не говоря уже о личной к нему привязанности. Однако для всех мил не будешь. Для некоторых королевские реформы обернулись потерей положения и состояния, и такие испытывали к монарху острейшую ненависть. Именно они старались повлиять на принца Балдуина, который с отцом виделся не иначе как на официальных приемах; а народ знал и понимал. С Валентином все обстояло по-другому.

Неизменная учтивость со всяким — к какому бы сословию тот ни принадлежал — расположили к нему и знать, и простых людей. Он был ужасом правящего класса, которому было известно как влияние его на отца, так и то, что проницательный его ум обнаружил много такого, что они хотели бы скрыть.

Его происхождение не было тайной, и хотя он не носил никакого титула, его воспринимали именно как королевского сына. И начали ходить толки здесь и там, что «лучше бы правил этот, чем другой».

Однако толчком всему послужила довольно обиденная история. Кронпринц охотился в одном из королевских поместий и со всей свитой остановился в придорожном кабачке выпить и отдохнуть. Хозяйки кабачка на месте не оказалось, и гостей приняла ее юная дочь. Девушка, естественно, была очень смущена присутствием кронпринца и его многочисленных присных. Балдуин же был в веселом расположении духа — возможно, чуточку под хмельком. Он принялся подтрунивать над девушкой и, наконец, обнял ее за талию, что вызвало смех у свиты и слезы у девушки. Когда охотники, наконец, уехали, она понемногу оправилась и принялась поливать свой садик, представлявший ее особенную

гордость. Но тут прибыл некий весьма привлекательный господин ученого вида, спросил бокал вина и выразил свое восхищение устройством ее сада. Гордость и удовольствие переполнили ее. В это время появилась ее мать, а заодно еще несколько человек — крестьяне, возвращавшиеся с работы; это было как раз их время. Церемонно поприветствовав хозяйку, незнакомец отбыл.

— Какой приятный господин, — начала девушка.

— Как! ты не знаешь, кто это? — спросила ее мать.

— Нет! кто он?

— Это же сын короля!

— Вот как, — сказала девушка горячо, — если это сын короля, то мне он понравился гораздо больше другого. И если наш король — Господь его сохрани! — умрет, то как было бы хорошо, чтобы этот стал королем!

Тогда от крестьян донесся голос:

— Как было бы хорошо, чтобы этот стал королем!

И другой, громче:

— Как было бы хорошо, чтобы этот стал королем!

Пока, наконец, все крестьяне хором не повторили эти слова. Вот так восклицание простой девушки в пылу обиды разошлось по всей стране.

* * * * *

Кирилл и Мефодий были начальники полиции. Однажды они, явившись к принцу Балдуину, сказали:

— Вашему королевскому высочеству известно, что ваш царственный отец, если позволите так выразиться, дряхлеет, и наш долг донести до вас, что он утратил свои способности. Множество мер, принятых им в последнее время, вызвало глубокое недовольство у обширного круга. Разумеется, нам известно, что их величество просто нездоровы, требуя тишины и покоя и вверив свои обязанности советникам — или, осмелимся доложить, советнику — имени которого мы не осмелимся разгласить. Ходят даже слухи, что на следующей неделе он собирается подписать конституцию, которая одним ударом перечеркнет освященные

веками — мы бы даже сказали, Богом данные — устои нашего великого королевства, Никосии. Вы — избранный помазанник Божий, и в страхе, что случится худшее — увы, вашего отца не окружают по-настоящему верные слуги, — мы явились засвидетельствовать вам свою верность и молить вас о предоставлении некоторых гарантий многим вашим будущим подданным в том, что вы охраните древние права и обычаи наших предков.

Принц Балдуин отвечал:

— Вы прекрасно знаете, что относительно всего этого я расхожусь во взглядах с отцом. Он зашел слишком далеко. Когда наступит мое время, я попытаюсь восстановить все, как было. Вы знаете, что мы с отцом не такие уж друзья. Что же касается советника, как вы его называете, то он перестанет советовать очень быстро, как только я воцарюсь на троне.

— Ну что ж, — сказал Кирилл Мефодию, когда они вышли от принца, — думаю, мы неплохо справились. С ним нетрудно будет ладить. Хотя я полагаю, что ты об этом уже знаешь, все же давай еще разок опишу подробности нашего плана — по крайней мере, моей части. Думаю, я славно разобрался с этим вопросом. А потом ты расскажешь о своей части плана. Она вообще-то самая трудная из всего. Я добровольно признаю, что в чем-то ты намного сообразительнее меня.

И Кирилл продолжал:

— В следующий четверг король отправится на смотр. Он торжественно проедет по Канальной улице. Король поедет по правой стороне. Я устрою так, чтобы что-нибудь произошло — еще не решил, что именно; вообще-то это не имеет значения, поскольку они нас не подозревают; сгодится и визжащая женщина, и что-либо другое, чтобы привлечь внимание, — причем на левой стороне. Это отвлечет внимание всех. А тут у меня уже будет двое убийц или, вернее, помощников, прямо на перекрестке Аллеи источников. Какие-то деньги им уже отданы. Не думаю, что они будут стоять нам больше. Я посулил им много; точная сумма не имеет значения. Но они ее не получают. Им было сказано, что полиция прикроет им отход так, чтобы они сумели ускользнуть в ту

небольшую дверцу в угловом доме, которая будет заранее приоткрыта. Мы можем разместить полицейских в конце аллеи, а дверь запрем. Так что их, несомненно, линчуют, и все подозрение падет на анархистов; а я займусь рассылкой отчетов за границу, в которых будут содержаться сведения об ужасных анархистских заговорах против короля и о том, как он нуждается в нашей первой защите. Это чуточку сдержит нашего друга-советника, ибо тогда у него вряд ли найдутся способы оставаться наедине со своим папашей; а у каждой двери будут дежурить чуткие уши. И все же это народное собрание выглядит довольно устрашающим. Мы не можем его игнорировать. Это я оставляю тебе. Скажи мне, что ты думаешь?

— Ну так, — сказал Мефодий низким, неторопливым голосом, — вот что я думаю. Сейчас мы пойдем и засвидетельствуем нашу верность Бастарду.

— Что? — воскликнул Кирилл. — Ты собираешься изменить всю программу? Верно, если мы посадим Бастарда на трон, у него будет больше причин оставаться нам благодарным, чем у кронпринца. Но тогда с ним придется гораздо труднее.

— Да, — согласился Мефодий, — мы поможем ему взойти на трон.

— Ты меня изумляешь!

Тут Мефодий прошептал что-то на ухо Кириллу.

У Кирилла вырвалось:

— О! — и он поежился.

После чего они предстали перед Валентином.

— Мы явились по необычному, тягостному поручению, — сказали они. — Зная вашу любовь к отцу, воображаем, как больно вам видеть, что его здоровье сходит на нет. И все же мы должны посмотреть правде в глаза. Говоря напрямую, он может умереть в любую секунду, и что будет тогда?

Вы знаете, что ваш брат совершенно некомпетентен в делах управления страной и может одним росчерком пера перечеркнуть все реформы, проведенные вашим либеральным отцом. Вам известно, что народ полагается на вас. Все можно разрешить

мирным путем. Не думаем, что ваш брат особенно желает править. Если бы вы назначили ему достаточное содержание, он был бы только рад жить в какой-нибудь зарубежной стране, в полной роскоши. И это будет щедрый поступок, ибо нужно основательно напрячь мозги, чтобы вспомнить, когда он выказывал вам свою любезность. Нет никаких сомнений, к чему склонится ваш отец. Вы знаете, что ваше влияние в стране велико, и мы явились в качестве, можно сказать, почти представителей воли вашего отца. Мы бы хотели предложить вам свою верность, ибо в нашей силе призвать к вам на помощь всю армию.

— Но королевство не принадлежит мне по первородству! — выкрикнул Валентин почти страдальчески.

— Подумайте! — просто ответил Мефодий.

Последовало долгое молчание, которое прервал мягкий неспешный голос Мефодия.

— Положим, Балдуин станет королем — как, вы думаете, он к вам отнесется, принц Валентин? Припомните, как он выказал вам свое неуважение на офицерском банкете. Вы скажете, что он не обязан признавать вас в качестве своего брата — но как офицера он мог вас уважить. Народ возлагает на вас свои надежды; а что же вы? Вас прогонят как собаку — в бесчестье — вот как он поступит с вами — о, как это разочарует многих!

После паузы Валентин сказал:

— Да, вы правы. Но дело не спешит, отец не так болен, как вам кажется.

* * * * *

В тот памятный день Мефодий заметил Кириллу:

— Где бы нам разместить полк Бастарда, вот в чем вопрос. Он не должен быть ни далеко, ни близко. Если разместить его близко, он расстроит наши планы; если далеко, то также расстроит наши планы, но уже по другой причине. Он должен быть достаточно близко, чтобы его легко было призвать, но не так близко, чтобы нам помешать.

Король торжественно ехал по Великой Канальной улице. Все заняли заранее оговоренные места. Какие-то волнения по ту сторону канала отвлекли внимание короля и его ближайшего эскорта.

Неожиданно метнули бомбу. Король еще успел повернуться и спросить:

— Никто не пострадал? В чем дело? — когда метнули еще одну бомбу, которая смертельно ранила его.

Как и предполагалось, убийц схватили и тут же вздернули на ближайшем фонаре.

И тут неожиданно толпа раздалась перед вздыбившейся лошадей. Некто, чье имя хорошо знали, но никогда не видели в лицо, бросился к королевской карете и прижал к груди короля. Умиравший, сделав слабую попытку обнять того, произнес:

— О Исмаил мой, Исав мой, зачем брат твой взял первородство твое?

Ему удалось поднять руку и наложить ее ему на голову благословляющим жестом.

Валентин оставался простертым, обвив руками тело отца. Наконец, поднявшись, он увидел, что толпа стоит молча, и все головы обнажены.

И когда он оглядывался вокруг, единодушный вопль потряс воздух:

— Да здравствует король!

* * * * *

Таким образом, помимо своей воли и даже против нее, он был объявлен королем всем народом. Сопротивления не было. Он послал письмо брату, отдав ему огромное состояние, которое было выделено ему королем, а также пообещав значительную годовую государственную субсидию.

По прошествии нужного времени состоялась торжественная церемония коронации. Редко когда народ приветствовал короля с таким воодушевлением.

Той же ночью Кирилл с Мефодием попросили аудиенции.

— Мы явились, чтобы принести наши поздравления вашему величеству, — сказали они. — И когда наши смиренные усилия способствовали благословенному стечению событий, то ваше величество будут настолько милостивы, что соизволят не забыть об этом.

— Я буду всегда доволен вашей службой, — произнес новый король, — и помнить, как вы поддержали меня. Но из ваших речей я понял, что вы ссылаетесь на некую особую услугу, и я буду еще более доволен, если вы поведаете мне о ней.

— Ваше величество весьма милостивы, — отвечал Мефодий, — спрашивая нас о подробностях нашей службы, и, как вашему величеству известно, мы всегда готовы служить вам верой и правдой. Если вашему величеству угодно знать, то мы организовали некое прискорбное происшествие, возымевшее столь плачевные и неожиданные последствия.

Лицо короля смертельно побледнело. Какое-то время он не мог говорить. Его глаза извергали такой огонь, что даже эти двое господ затрепетали перед ним.

— Что! — вырвалось, наконец, у него.

Услышав это, Мефодий справился с собой и заговорил прежним вкрадчивым тоном:

— Вашему величеству нет никакой нужды гневаться на нас. И нет также, — произнес он, повышая голос, — у вашего величества способа повредить нам. Мы — известные люди, начальники полиции, нашему слову верят. Так что если мы раскроем то небольшое обстоятельство, каковое само по себе очевидно, даже если ничего не знаешь, — что вашему величеству удобно было убийство вашего отца как раз тогда, когда симпатии народа были на вашей стороне, то весьма вероятно, что люди этому поверят. Поэтому, быть может, мы пойдем друг друга.

Король не сказал ни слова. В полнейшем молчании он прошел мимо них. Они не осмелились его и пальцем тронуть, но неотвязно следовали по пятам. Он прошел через весь дворец и вышел вон.

Слуги и часовые, пораженные странным ужасом, даже забыли отсалютовать ему. Он шел все прямо, сквозь ночь, пока не пришел к алтарю, воздвигнутому им на месте убийства отца. Что он намеревался сделать, никому неизвестно. Но сердце его разорвалось, буквальным образом, и он упал перед алтарем.

— Лучше окончательно удостовериться, — сказал Кирилл и вонзил кинжал, который он постоянно носил собой, в уже оставившееся сердце.

* * * * *

Мефодий произнес прекрасную речь.

— Видите, люди, — вскричал он, — что вы наделали. Вы предпочли дрянного бастарда помазаннику Божьему; и смотрите, кого вы выбрали. Такого мы не могли и представить. Но с нашими полномочиями у нас есть достаточно способов расследовать любое дело. Этот порочный негодяй, сушая ехидна, выкормленная королем на груди, забыв всякую благодарность, обратился против своего отца, которому был всем обязан, и, заручившись симпатиями определенного числа — хочется верить, очень немногочисленного, — замыслил дьявольский заговор против отца, чьей единственной ошибкой была нежнейшая любовь к сыну, и убил его в обычаях своей подлой натуры, о которой мы все хорошо наслышаны. Но будто этого было недостаточно, лицемерный отцеубийца пришел плакать над телом убиенного отца, и, — тут Мефодий разрыдался, — отец благословил его слабеющей рукой. В конце концов, как вы видите, он трусливо покончил с собой.

Тело Валентина было брошено на кучу глины и заброшено мусором.

Сейчас в Никосии все по-другому. Кирилл и Мефодий пользуются абсолютной властью. Их ставленник, Балдуин, превратился в жестокого, подозрительного тирана. Они пугают его подстроенными взрывами, держа в состоянии постоянного страха. Взрывы, по их словам, устраивают анархисты. Ими они пользуются как средством расправы со всеми, кто стоит у них на пути.

Кирилл — прокурор государственной церкви, что означает преследование всякого, несогласного с его замыслами; а также главный цензор, так что опубликовать в Никосии книгу, расходящуюся с его политикой, практически невозможно. Мефодий надзирает за прессой и редактирует официальный журнал, все статьи в котором измышлены, и другие журналы не смеют ему противоречить. Его агенты разосланы во все части света, чтобы внушать ложные впечатления о том, как идут дела в Никосии.

Поэтому в заключение могу сказать, мой дорогой читатель, что услышанные тобой вести из Никосии вряд ли будут соответствовать действительности.

СОХРАНЕННАЯ ТАЙНА

Глава первая. ВСТУПЛЕНИЕ

То обстоятельство, что помолвка лорда Вандрейка и леди Виолы Варгас была неожиданно расторгнута прямо накануне свадьбы, наделало, разумеется, немало шуму в обществе. Их близких друзей это поставило в еще больший тупик; поскольку о причинах не было объявлено; и сколько бы они ни ломали себе головы, ни одной мыслимой причины не находилось. Редкий брак заключался при столь благоприятных условиях. Оба были богаты, занимали видное положение в обществе, были независимы и не встретили ни с чьей стороны ни малейшего возражения. Ко всему прочему, что самое важное, оба любили друг друга. Никакая другая женщина, кроме Виолы, не интересовала Вивиана, и точно так же Виолу интересовал один Вивиан.

Оба были сиротами: и, будучи в родстве, хотя и не близком, большую часть жизни провели в одном доме. Они были или, скорее, стали на удивление похожи друг на друга. Настолько, что люди принимали их за брата и сестру, а не за жениха и невесту. Я говорю «стали», ибо полагаю это наиболее вероятным объяснением. Частенько подмечалось, что люди, постоянно живущие вместе и питающие друг к другу живейшую симпатию, становятся похожими друг на друга. Ввиду того, что внешнее сходство вряд ли может объясниться родством во втором колене. Тем не менее, между ними были и различия.

Его лицо можно было бы назвать женским, а не женственным, — из-за невыраженных черт, чудесной нежной кожи и прекрасного цвета. Однако в нем совсем не наблюдалось этих вялости и жеманства, присущих так называемому женственному облику. В самом деле, выражение его лица было весьма умным. В глазах отражалась достаточная воля, хотя на вид он был изящен и хрупок: без следов видимой болезненности.

Красивым его было не назвать: про него говорили, что он привлекателен, а некоторые находили лицо его прекрасным. Ему было двадцать пять, но выглядел он не моложе девятнадцати.

Черты ее лица, напротив, были четче и мужественнее, и если у него воля отражалась в глазах, то у нее решительность угадывалась в рисунке рта. Глаза же ее были милы и ласковы, слабо-сиреневого цвета, — воистину глаза голубки; тогда как его глаза были переливчато-зеленого цвета, просто на удивление (под переливчато-зеленым цветом я не имею в виду *vert de mer*¹).

Единственным возражением, приходившим на ум всякому, заключалось в том, что Вивиан с детства подвержен был обморокам. Однако выдающийся врач-невропатолог сэр Джозеф Рэндор, который приходился им обоим родственником и которого они оба звали дядя Джозеф, объяснил тете Виолы, леди Эсилинде, у которой Виола жила, что жениться было бы для него лучшим выходом. Виола и Вивиан росли вместе и с детства привыкли делиться всеми секретами. Этот брак казался чем-то само собой разумеющимся, и в день, когда начинается этот рассказ, леди Эсилинда хлопотала, отдавая последние распоряжения относительно намеченного на завтра праздника.

Глава вторая. ПОЛУРАСКРЫТАЯ ТАЙНА

— Вивиан, как ты бледен, как странно ты выглядишь! Ты не можешь себе представить, как ты пугаешь меня. Я и так издергана сегодня, мне приснился ужасный сон: такой, что не буду тебе рассказывать. И, конечно, о тебе. Весь день я содрогалась от предчувствия, что до наступления завтрашнего дня нечто вмешается и разлучит нас. Я так рада, что ты пришел: по крайней мере, ты здесь. Но придвинься! Дай мне дотронуться до тебя, ощутить тебя! Ты выглядишь так... странно!

— Не прикасайся ко мне!.. Виола, дорогая, после твоих слов мне будет легче сказать то, что я собирался, — мы не поженимся завтра!

¹ Цвет морской волны (фр.)

Последние слова он выговорил жестким сухим гортанным, скрипучим голосом, так не похожим на его обычную манеру говорить. Она задрожала, затем, устремив свои чудесные глаза на него, произнесла нежно, но явно неискренне:

— С твоей стороны было довольно нелюбезно ждать до сегодняшнего дня, чтобы объявить, что ты любишь другую.

Здесь слабая фальшивая улыбка, которую она пыталась изобразить, сошла с ее лица. Он бросился к ее ногам и принялся покрывать ее руки страстными поцелуями.

— Виола! — вскричал он страдальчески. — Убей меня, но не мучь! Я знаю, ты думаешь по-другому. Я никогда не любил и не мог полюбить никого, кроме тебя.

К этому времени она уже оправилась от потрясения, будучи для своей хрупкой внешности натурой довольно жесткой. С притворной улыбкой она произнесла саркастически:

— Нет, я не одна из героинь Бьорнсона¹ или «Небесных близнецов»² или подобных книжек. Так что если за тобой в прошлом числится некое преступление против морали, то я не хочу о нем слышать. Видишь, я уже приготовила платья и все остальное; и я не желаю из-за твоих старых грешков отменять все представление.

И она разразилась жутким смехом. Он издал низкий стон.

— Послушай, Виола! — проговорил он. — Ты слишком нелюбезна со мной. Ты не должна была этого говорить. — Его голос задрожал от слез. — По крайней мере, позволь мне объясниться, хоть я и не в силах. Но ты ведь любишь меня, любишь? И пожалеешь меня, что бы я ни сказал?

К этому времени она полностью справилась с собой. Она была бледна и спокойна. Вместо ответа она ласковым жестом положила руку ему на голову.

— Ты наверняка презираешь меня. Быть может, ты поймешь логику моего трусливого поступка. Я просто не осмеливался сказать об этом. Но перед лицом последнего дня я собрал, наконец,

1 Бьорнстерне Бьорнсон (1832-1910), норвежский писатель и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1903)

2 «Небесные близнецы» (1893) — роман Сары Гранд (1854-1943).

все свое мужество, чтобы сказать то, что собираюсь сказать... Но о чем же? И как мне это сказать?.. Дело в том... что... я... сошел с ума!

— Вивиан, — произнесла она с ласковой улыбкой — но не смогла закончить фразу.

— Помнишь ли ты, — продолжал он сиплым шепотом, — как мы зашли, очень давно — да, как же давно это было — зашли в ту комнату дяди Джозефа, — помнишь, мы еще называли ее комнатой Синей Бороды? То, что нам не разрешали заходить туда, еще пуще разожгло наше любопытство; и тебе каким-то образом удалось раздобыть ключ, и когда мы вошли, помнишь ли, как я упал в обморок, а ты нет? А когда нас обнаружили, то еще хорошенько выпороли?

Все это он произнес без всякого выражения. Между ними повисло молчание. Она пристально смотрела на него, затем произнесла своим мягким нежным голосом:

— Вивиан, но ты ведь не придаешь всему этому значение? Дядя Джозеф тогда сказал, что твой обморок его совсем не удивил и что у меня более выносливая конституция. — Затем ласково и раздельно: — Постарайся быть более собранным, дорогой. Что, в самом деле, ты имеешь в виду под сумасшествием? Я знаю, тебя всегда звали эксцентричным. Но ведь оба мы таковы, и пусть я не специалист, но когда кто-то выразился о тебе в этом роде, тетя Эсилинда, человек на редкость здравомыслящий, сказала: «В действительности я мало встречала людей с таким ясным рассудком, как у Вивиана».

Он продолжал тем же голосом, что и прежде:

— Однако мое безумие заключается не в моей эксцентричности. Когда на меня находит, я осознаю все — осознаю так, что это меня пугает. Безумие просто охватывает меня. Что я тогда делаю, мне неизвестно. Нет! — вскрикнул он отчаянно. — Я знаю — слишком хорошо знаю! Возможно, ты поймешь — сейчас все кажется мне рассказом о другом человеке: совершенно другом — будто яркий сон, задержавшийся в памяти.

Она мертвенно побледнела. Глядя его волосы, спросила:

— Вивиан, дорогой, конечно же, я знаю, как ты возбудим. Помнишь, когда с тобой случались те нервные припадки, только я могла успокоить тебя, а когда ты бредил, только меня ты терпел в комнате. — Она наклонилась и поцеловала его в голову. — Конечно, я...

И он сказал, очень ласково:

— Дорогая, я знаю, что ты скажешь. — Затем с ноткой ужасающей муки: — Но ты не знаешь! — И снова без выражения: — Я могу повредить даже тебе!

Первый раз он взглянул прямо ей в лицо, прямо в глаза: и этот взгляд выразил больше, чем слова. Они прижались друг к другу в одном долгом, страстном объятии. Оба молчали.

И так же молча он вышел.

Когда он ушел, она без всяких эмоций подошла к столу, вынула из ящика стопку почтовых открыток и написала на одной:

«Вследствие непредусмотренной случайности брак лорда Вандрейка и леди Виолы Варгас в последнюю минуту откладывается. Гостям приносятся извинения...»

— Так нельзя, — пробормотала она вполголоса обыденным тоном. — Впрочем, и так сойдет.

И она продолжила заполнять открытки одну за другой.

Вошла леди Эсилинда.

— Мое дорогое дитя, — вскричала она, — я знала, что девушки пишут письма накануне своей свадьбы, но не в таких же количествах.

— Взгляните на это, — ответила Виола, вручая той одну открытку, еще не вложенную в конверт.

— Что это значит?

Прямая, ужасно бледная, она ответила просто и самым суровым тоном, на какой только была способна:

— Не нужно вопросов!

И добавила:

— Раз уж вы воротились, не сочтите за труд дописать остальные — я немного устала.

Глава третья. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГАЗЕТ

Из светского журнала:

«К сожалению, вынуждены сообщить, что здоровье лорда Вандрейка ухудшилось настолько, что ему было предписано выехать за границу, либо на Мадейру, либо в Египет».

Из «Морнинг Ньюс» (передовая статья):

«Еще одно пугающее преступление из ряда тех, что недавно потрясли Лондон. Мы не находим слов об этом рассказать. Эти преступления запомнятся — и весьма надолго — своей изощренной жестокостью и отсутствием каких бы то ни было мотивов: что же до злоумышленника, то о нем остается только догадываться. Запомнятся и по большой дискуссии, развернувшейся в нашей газете, касательно личности преступника: одни считают, что он — туг¹, другие выдвигают иные теории.

Теорий этих столько, что мы не станем их все приводить. Но как уже говорилось, беспричинная жестокость и отсутствие мотивов сбивают следствие с толку. Кроме того, преступнику, по видимости, с легкостью удалось скрыться. Возможно, поблизости не было полиции. Но, учитывая обстоятельства, с трудом верить, чтобы ему удалось скрыться с такой легкостью.

Сводка последнего преступления, еще более ужасающего по сравнению с другими, дана в соседней колонке. Мы лишь хотим сделать несколько примечаний. Кажется, оправдываются самые безумные предположения наших суеверных читателей. Взглянем же на факты. Услышав крик, полицейский является на место преступления и видит убегающую фигуру. Убегающий одним прыжком перемахивает через стену, а когда полицейский пробует последовать за ним, перепрыгивает обратно и хватается того за горло. Полицейский был доставлен в больницу и сейчас находится в безнадежном состоянии, мы бы сказали,

¹ Член индийской секты тугов, душителей, чьими жертвами становились в основном путешественники, которых грабили и приносили в жертву богине Кали. Считается, что за свое многовековое существование секта тугов удушила около 2 миллионов человек. Секта была разгромлена усилиями британского полковника сэра Уильяма Слимена (1788-1856), создавшего особый Департамент по делам тугов при колониальном правительстве (действовал вплоть до 1904 года).

нервического возбуждения. Он беспрестанно дрожит и повторяет, что видел вспышку зеленого пламени, брызнувшего из глаз представшей перед ним фигуры. Но в целом показания его связаны. В самом деле, другой полицейский заметил ту же фигуру, ибо этот район находился под особым наблюдением. И это практически все. Было нечто почти разумное в последнем полученном нами письме от некоего Ф.Б., писавшего о сатанинском вмешательстве. Нам нечего сказать, и мы не претендуем на суждение; просто у нас имеется довольно рослый полицейский, до смерти напуганный теми ужасными глазами, — человек вовсе не пугливый и в промежутках между приступами дающий связанные показания. Однако больничное руководство заявляет — и по нашему мнению, тоже достаточно разумно, — что любая беседа с ним может привести к очередному приступу, могущему оказаться роковым, что кончится тем, что показания не у кого будет брать. Однако по здравому рассуждению, какие еще показания можно дать? Имеется, по крайней мере, некая догадка о личности чудовища, и этого мало. Все газеты полны отчетов об этом деле, и, пожалуй, нам больше нечего сказать; а если бы было, то мы бы были склонны встать на сторону нашего суеверного читателя Ф.Б.»

Вечерняя газета, специальный выпуск:

«Совершено еще одно жестокое убийство, потрясшее весь Лондон. На этот раз убийца был пойман на месте преступления».

Вечерняя газета:

«Правда куда диковиннее вымысла. Вот и пойман злоумышленник, совершивший все те жестокие преступления, которые ужаснули нас и о которых мы так много слышали, пойман *in flagrante delicto*. Обстоятельства последнего происшествия наводили на мысли о яростном сопротивлении. Но вот в чем странность и непостижимость этого дела. Вопреки ожиданиям, сопротивление не было оказано. Злодей позволил заковать себя в наручники и отвести себя в полицейский участок без малейшего сопротивления, что произошло ночью, в отдаленном месте, иначе его, разумеется, линчевали бы. Это так, между делом. Вряд ли преступление было совершено днем. Следует отметить высшей похвалой полицию за то, что

преступник был отконвоирован в участок боковыми улочками. Ведь сопротивление привлекло бы большую толпу».

Выдержка из сводки в утренней газете:

«Заключенный был задержан на месте преступления: и позволил мирно препроводить себя в полицейский участок. Однако на допросе он не промолвил ни единого слова: полиция придерживается мнения, что он иностранец и не говорит по-английски. Разыскиваются переводчики с разных языков.

Он был в простой одежде, плисовых штанах и фланелевой рубашке; однако в полицейском протоколе сказано, что у него благородная внешность; далеко не отталкивающая, как сначала думалось».

Дальнейшая сводка (в той же газете):

«Несмотря на усилия переводчиков, заключенный отказывается говорить. Он также не принимает пищу. Можно подумать, что он глух и нем, но это не так: понятно, что он может слышать; а его немота, несомненно, добровольна; его ни в коем случае нельзя назвать слабоумным. Будучи приведен в полицейский участок и помещен в камеру, он немедленно впал в глубокий сон и проспал не только всю ночь, но и весь следующий день, причем любые попытки разбудить его окончились неудачей. Лишь этим утром он пошевелился; затем с помощью жестов показал, что хочет воды. Он выпил большую кружку и умылся с необыкновенной тщательностью. Выяснилось, что один полицейский дал ему кусок мыла. Но весь день он сохранял полнейшее молчание. То сидел, то расхаживал по камере. У любого полицейского, подходящего к камере, он просит воды, которую пьет большими кружками. Завтра он предстанет перед полицейским судом».

— Дорогая моя, — сказала леди Элисинда, прерывая чтение газеты вслух, какова была ее всегдашняя привычка за завтраком, — ты выглядишь ужасно больной! Что случилось?

— Да так, — ответила Виола с подобием улыбки, — мне что-то тревожно на душе, я не хотела бы, чтобы вы читали мне эти страшные вещи.

После чего леди Элисинда сказала:

— Дорогая, ты говоришь как обыкновенная кокетка. Вот не знала, что ты можешь притворяться потрясенной; напротив, я думала — уж прости меня — что это дело заинтересует тебя, ибо оно совершенно уникально, а я знаю, что тылюбишь уникальные вещи.

— Люблю, — отвечала Виола, — но сама не знаю почему, этот случай, ужасный сам по себе, производит на меня совершенно ужасающее впечатление. Однажды я даже видела его во сне. Но поговоримте о чем-нибудь другом.

— Дорогое мое дитя, — произнесла леди Элисинда, — прости меня. Я знаю, как взволновало тебя бесчестное поведение Вивиана.

— Мне казалось, — сказала Виола, — мы договорились не упоминать о Вивиане. Но раз уж вы заговорили о нем, то я могу сказать, что его поступок не был бесчестным.

Затем после небольшой паузы она с легкой улыбкой добавила:

— Да, если вы уже заговорили о Вивиане, могу вам сказать, что вчера я получила от него известие.

— Мне не попадалось на глаза письмо, — сказала леди Элисинда.

— Ну конечно же, нет: оно пришло до того, как вы встали с постели, и так как мы договорились не говорить на эту тему, то я подумала, что совсем необязательно показывать его вам. Сведений, однако, немного; там просто говорится, что он был в Марселе и теперь отправляется в Южную Америку. Однако мне необходимо присмотреть за ужином. Вы знаете, какая в буквальном смысле этого слова мешанина может получиться у Джейн из этого французского мяса, запеченного в тесте, если я не присмотрю. А ведь леди Гейдж — невозможная гурманка.

Выдержка из влиятельной вечерней газеты:

«Любопытство касательно отвратительного чудовища, получившего прозвание «Лондонский Ужас», достигло своего предела. Нам, к счастью, удалось пробиться в здание полицейского суда. Место внутри получили немногие, не пускали даже

представителей прессы. Вход для публики был полностью закрыт из-за страха перед выступлениями. Перед дверью собралась невообразимая толпа. Когда заключенного вели внутрь, он поскользнулся и чуть не упал. Самое любопытное из происшедшего то, что в толпе находилась женщина с маленьким ребенком. Ребенок, едва научившийся ходить, потянулся к заключенному, но мать схватила его за руку и быстро увела прочь, приговаривая: «Это плохой дядя; он тебя съест!»

Однако в зале суда перед нами предстала совершенная другая картина. Определенно наружность заключенного никак не соответствовала тем жестоким, злодейским преступлениям, которые ему приписываются. Совсем наоборот, его лицо выражало доброту и участие. Наружность его также была благородна и утонченна. Пожалуй, можно заключить, что у него располагающая внешность.

Это и было то чудовище, которое мы ожидали увидеть. Все глаза были устремлены на него. Как уже говорилось, он отказывался говорить. Были приглашены несколько переводчиков. Когда судья спросил простым языком: «Как ваше имя?», он ответил на таком же простом, понятном английском, безо всякого иностранного акцента: «Я отказываюсь сообщать свое имя, и вы не можете меня к этому принудить».

То, что он заговорил в первый раз, вызвало некоторое изумление. После короткой паузы судья спросил: «Признаете ли вы себя виновным?» Тот ответил: «Признаю — и не только в совершении этого преступления, но и в совершении других, подобных ему, о которых столько говорилось. Почему я должен тратить ваше время? Вам ничего не остается, как назначить суд. Мой единственный аргумент в свою защиту — невменяемость: если только это можно счесть доводом против смертной казни. Однако я здесь не для того, чтобы оспаривать дело. Давайте покончим с этим как можно скорее. В свидетелях нет нужды. Я честно признаю себя виновным. И как я уже сказал, я выдвигаю невменяемость в качестве смягчающего обстоятельства. Теперь, когда я сказал все, что должен был, пошлите меня прямиком в тюрьму. Несомненно, здесь дожидаются своей очереди другие правонарушители и истцы, и я не вижу причины, почему я должен их стеснять».

Все это он произнес совершенно спокойно, и рассмотрение всего этого пресловутого дела не заняло и двадцати минут».

Сводка из «Морнинг Ньюс» (передовая статья):

«Жестокий преступник, известный под прозвищем «Лондонский Ужас», отличается весьма примерным поведением. Он показывает себя послушным, разумным и даже внушил к себе расположение стражей и тюремщиков своими прекрасными манерами до такой степени, что они преодолели в себе естественный ужас перед человеком, который, по его собственному признанию, совершил все те отвратительные преступления, о которых мы в последнее время так много слышали.

Вспомним, что сначала он не говорил ни слова; предполагалось, что он — иностранец, совершенно не знающий нашего языка. Сейчас он приветливо, если не охотно, разговаривает со всеми; тюремщики заявляют, что для них большое удовольствие иметь дело с таким заключенным. Капеллан заявил, однако, что, когда он явился в камеру с увещеваниями, то встретил замечания более чем богохульные. В целом же этот человек представляет собой проблему. Возможно, его аргумент о невменяемости — правда. Однако его обследовали пять специалистов, и все заявили, что не могут найти и следа невменяемости. Любопытно отметить вот что. Когда по совету его адвоката их попросили обратиться за последним мнением к выдающему невропатологу сэру Джозефу Рэндору, заключенный впал в совершенное безумие и, мечась по комнате, закричал: «Нет, нет, нет, я не хочу его видеть ни при каких обстоятельствах» и т.п.»

Глава четвертая. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Заключенный заявил о своей невменяемости. Дело привлекло к себе громадный общественный интерес. Было решено прибегнуть к услугам сэра Джозефа Рэндора, причем при своеобразных обстоятельствах, ибо заключенный категорически не хотел его видеть. Мнение адвоката было таково:

— В данном случае безумие его налицо: имя врача приводит его в необъяснимое возбуждение. Это какая-то идея фикс, вроде красной тряпки для быка; в конечном счете, Рэндор осведомлен в этой области больше, чем кто-либо другой, а лично я полагаю этого человека безумцем. Иначе я никогда бы не взялся его защищать.

Сэр Джозеф Рэндор посетил заключенного в компании других врачей. При взгляде на того он побледнел (что для врача довольно странно) и произнес низким, скрипучим голосом:

— Да, полагаю, заключенный невменяем.

— Но, — сказал один из врачей, — откуда вы знаете? Ведь вы не провели ни одного анализа...

И тот, взявши себя в руки, ответил *splendide mendax*¹:

— Дело в том, господа, что заключенный был моим пациентом с детства, и насколько я знаю, всегда был подвержен эпилептическим припадкам и временным приступам безумия. Нет нужды говорить, господа, что я доверяю вашей профессиональной честности в том, чтобы не проводить расследование относительно личности заключенного, поскольку к делу это не имеет никакого отношения. И — вы понимаете — это навлечет множество неприятностей, чтобы не сказать бесчестия, на многих занимающих высокое общественное положение. Позвольте же мне сказать, что, поскольку я являю собой авторитет в данной области, без проведения обследования и из прошлого опыта у меня имеются достаточные причины думать, что заключенный, безусловно, невменяем.

— Что ж, — сказал один врач, — вы авторитет в этой области, и мы должны признать ваше мнение в качестве окончательного. Думаю, что вы можете полагаться на мое благоразумие и благоразумие моих коллег.

Придя домой, совершенно измученный и даже более того, свалившись в кресло, он не заметил сразу находившуюся в комнате Виолу.

— Мое дорогое дитя, — промолвил он слабо, — что привело тебя сюда? А я тебя и не заметил. Ты должна извинить меня, я слишком расстроен. Тебе и невдомек, чем мы, врачи, подчас должны заниматься. Только что я столкнулся с особенно тягостным случаем в тюрьме.

Она ответила просто и спокойно:

¹ Блестящая ложь (лат.) — почти аналог русскому «не моргнув глазом».

— Я прекрасно знаю, что вам пришлось делать. Вы виделись с ним.

Доктор вздрогнул.

После короткого молчания он сказал:

— Так ты знаешь?

Она не подтвердила и не отвергла его слова, просто продолжила:

— У вас имеется доступ в тюрьму, вы должны менять туда взять.

— Но... — начал было он, однако Виола продолжала:

— Я знаю, что вы собираетесь сказать — что меня могут узнать, — могу вас уверить, что меня не узнают. Я возьму у Анны одно из ее старых платьев — вы знаете, мне всегда хорошо удавалось переодевание на маскарадах, особенно в последний раз, когда я нарядилась горничной. И потом мы достаточно похожи, чтобы я сошла за его сестру. Вы можете сказать — вернее, вы, должно быть, уже сказали что-то похожее на это, — я имею в виду, то, что заключенный вам знаком, ведь со всеми вашими способностями, милый дядя Джозеф, я не верю, чтобы вы сумели притвориться, что совсем его не знаете. Поэтому вы должны найти хоть какой-то способ, чтобы провести меня к нему под видом его сестры.

— Это верно, — ответил сэр Джозеф, — что я сказал врачам, что был знаком с заключенным. Разумеется, тюремщики и власти ничего об этом не знают.

Он был настолько растерян, что голос его звучал слабо и бес- сильно.

— Думаю, это неважно, — сказала она спокойно. — Если тю- ремщики не знают, оно и к лучшему; вы можете легко сказать, что лечили молодого человека от — ну, скажем, эпилептических припадков, и так узнали, кто он таков. Но вы поведали об этом только его сестре. О! — добавила она с нетерпеливым жестом. — Сгодится любой рассказ; нет никакой разницы между ними, и вы лучше меня сможете их придумать.

— Но... — начал врач, на этот раз дрожа.

Ужасно бледная, необычная, она выговорила грудным голо- сом, хотя мягко, без выражения:

— Я отправлюсь туда, и вы возьмете меня с собой.

Сэр Джозеф Рэндор зашел к директору тюрьмы с весьма достоверным рассказом.

Заключенный, по его словам, известен ему как отпрыск очень уважаемых родителей; людей, выдавших лучшие дни, а ныне сломленных бедами. Он знаком с этой семьей. Мальчик вызвал в нем особенный интерес, поскольку попал в больницу, с которой он тогда был связан, со своеобразной формой эпилепсии, и помимо того, что он немного знал семью, случай заинтересовал его также как и специалиста. Он может сказать наверняка, что заключенный совершенно не отвечает за свои поступки, хоть и выглядит вменяемым; он умен и был одним из лучших учеников в своем классе.

— Вот увидите, — продолжал он, — каким ударом это будет для его семьи. Его родители вряд ли это переживут. Накажите убийцу, но только если считаете его виновным и вменяемым. Но не допытывайтесь, каково его имя; оно никому не важно, кроме его близких.

— Ага! Теперь понимаю, — сказал директор, давний знакомец доктора.

— Но я бы хотел попросить вас еще об одном. У него есть единственная сестра, и она каким-то образом догадалась, что ее брат совершил преступление; я, право, был крайне удивлен, когда она появилась сегодня в моем кабинете. Она ничего никому не расскажет, она просто хочет повидаться с братом. Возможно, она знает обо всем гораздо больше других. Собственно, я слишком увлекся предисловиями, вот о чем я хотел бы попросить — не разрешите ли вы провести сюда сестру на свидание с братом и проследить, чтобы сообщение об этом не попало в газеты?

— Ну что ж, — сказал директор, — старому другу я не откажу, ибо верю вам на слово. И потом, я лично категорически против того, чтобы давать на процессе отчет, чем занимался заключенный, как это сейчас требуется. Почему бы им не оставить заключенных в покое? А все в угоду самой болезненной любви к сенсациям.

Так Виола, в платье горничной, проникла с сэром Джозефом под видом сестры заключенного в тюрьму. Он не стал ее

дождаться, а просто оставил наедине с тем. Ждать ее означало вызвать подозрения. Кроме того, ему предстоял важный визит к больному.

Какое-то время они просто сидели рядом. Тюремщик приложил все усилия, чтобы подслушать, о чем они говорят, но это ему не удалось, ибо разговор велся не по-английски. Он уловил только:

— Суд состоится в понедельник; и меня точно кто-нибудь узнает. Это просто неизбежно.

И последнее замечание:

— Ты действительно это принесешь?

И она ответила:

— Да, положишь на меня. Неужели я тебя когда-нибудь подвела?

Выходя, она бросила самый обольстительный взгляд на тюремщика. Было заметно, что его не очень-то обманул ее наряд горничной и то, что она будто доводится заключенному сестрой. И она решила оставить притворство и сыграть впрямую.

— Это, должно быть, ужасно, — произнесла она самым нежным голосом, — быть тюремщиком. Полагаю, вы к этому уже привыкли. И все же...

— Ну уж нет, сударыня, — ответил тюремщик, — приятной работой это не назовешь. Сюда к нам такой народец попадает, что только держись. Не у всех такие манеры, как у этого господина. Но что прикажете делать? У меня жена да детишек шестеро, кормить их как-то надо.

— А если бы, — произнесла она, кладя ему руку на плечо и приковывая к месту ласковым томным взглядом, — вы не были тюремщиком, то кем вы хотели бы быть?

— Ну, — сказал тюремщик, размякая, — раз вы спросили — есть тут одно небольшое питейное заведение, в хорошем местечке, близко к дому, где живет моя жена. Мы бы неплохо зажили, стань оно нашим, потому что место уж больно хорошее, а сейчас его собираются продавать всего за триста фунтов, с его-то репутацией и всем прочим. Нынешний-то хозяин простофиля, не знает,

как с ним управиться. Пятьдесят фунтов на закупку товара — и мы бы смогли начать дело. Меня всегда клонило к такому занятию.

Тут она взглянула на него снова, и он сказал, покраснев:

— Это довольно-таки любезно с вашей стороны, сударыня, разузнать о моих заботах. Но вряд ли я смогу отложить столько денег, ведь у меня всего-то сто фунтов.

— Послушайте! — сказала она почти торжественно, — я богата. У меня куча денег. Я дам вам тысячу фунтов и взамен хочу лишь, чтобы вы оказали мне небольшую услугу.

— Да ну? — подозрительно сказал тюремщик и потом спросил заикаясь: — Я, конечно, не сомневаюсь, что вы можете мне дать тысячу фунтов, но что вы от меня хотите? Порядки здесь жесткие. Я не боюсь, что меня уволят. Но я могу оказаться по ту сторону решетки.

— О нет, — возразила она мягко. — Я прошу малого. Очень простой вещи. Мой брат (она сделала ударение на этом слове, поскольку поняла, что тюремщик уже догадался обо всем) будет ужасно нервничать накануне суда в понедельник, и я хочу, чтобы вы разрешили мне провести с ним ночь — я имею в виду ночь накануне суда. Смотрите, — продолжала она после небольшой паузы, — я могла бы прийти поздно и выскользнуть прочь рано утром так, что никто и не заметит. Не могли бы вы устроить это? — спросила она, сопроводив свои слова еще одним призывным взглядом. — Я принесу тысячу фунтов с собой, и вы на месте сможете удостовериться, что банкноты подлинные.

— Да, — согласился тюремщик, минутку поразмыслив, — думаю, это можно устроить.

И они продолжили разговор, уговорившись о времени и способе проникновения в тюрьму.

Той ночью заключенный словно решил оправдать свое собственное признание в невменяемости. Он метался по камере, словно дикий зверь в клетке, бормоча:

— Нет, конечно, она не придет, нет, она не сможет это достать. Но тогда она бы пришла, чтобы об этом сказать, — сейчас что-либо

сделать уже невозможно. И все же просто увидеть ее было бы достаточно, более чем достаточно. — И он воскликнул, топая ногами: — Да нет же, она не придет. — И тут же приходя в себя: — Определенно есть все причины для этого. — Он рассмеялся ужасным смехом и еще безумнее закружил по камере: — О, и все же... — он бросился на плоскую койку и разразился истерическими слезами.

Его привел в рассудок поцелуй, и нежный голос произнес:

— Вивиан!

Вскинулся:

— Ты все-таки пришла! Это с тобой? Но все равно... поскольку ты уже здесь!

— Да, — сказала она медленно и спокойно, — у меня это с собой.

— Но ты пришла так поздно! — воскликнул он, снова впадая в истерику. — Тебе нельзя будет остаться. Нельзя ли тебе пробить здесь хоть четверть часа? Да, только четверть часа!

Затем с истерическим смехом, напуская на себя спокойствие, он произнес:

— Ты видишь, неудивительно, что я немножко нервничаю. Не каждый день кончаешь самоубийством. Хочется, чтобы тебя ободрили, и хочется произнести последнее слово. У людей есть некоторое право сказать последнее слово перед смертью. Но тогда, кроме того... что ж, это можно сказать... о!.. где оно? Дай его мне!

Она ответила, глядя его голову:

— Не бойся, я не оставляю тебя. Я уладила все с тюремщиком, я остаюсь здесь на всю ночь.

— А! — вырвалось у него, и он положил голову ей на грудь.

Затем она успокоила его своими чудесными руками, и он заснул. Так они и оставались, пока первый луч зари не просочился сквозь оконную решетку.

— О Боже! — произнесла она. — Уже наступает день! Просыпайся, дорогой, пора идти.

— Ах да, действительно пора.

И с тенью улыбки:

— Мне будет холодно и одиноко в мире теней. Но полагаю, мы должны обсудить практическую сторону. Сейчас тебе уже пора

идти, и если ты выйдешь сейчас, то пройдешь незамеченной. Право, если у тебя уговор с тюремщиком, то никому ничего не нужно знать; и никто не узнает; так что в этом отношении все в порядке.

Все это он произнес сухим жестким голосом, а потом голос его совершенно переменялся, и он сказал:

— Попрощайся хотя бы. Я думал, у меня есть что сказать тебе. Но теперь мне кажется, что все уже сказано.

— Разве я не говорила, — произнесла она с ужасающим спокойствием, — что не покину тебя? Ты отправишься в мир теней пусть и замерзшим, но не один. Я иду с тобой. Ха! — вырвался у нее почти вакхический смешок, — интересно, сужден ли нам жребий Паоло и Франчески!

И затем гортанно:

— Как ты сказал, времени терять нельзя. Поезд отправляется точно в 5.14. Вот этот поезд, — и она вручила ему пузырек. — Тебе лучше принять его первым, а я последую за тобой.

Потом шепотом:

— На бутылочке есть отметка, где-то на середине, не пей больше. Этого более чем достаточно.

Без слов он проглотил половину пузырька.

Действие было немедленным — один короткий хрип.

Тюремщик, игравший в этой странной серенаде роль одновременно пособника и стража, услышав этот хрип, постучал в дверь.

— Не входите! — вскричала она. — У него опять припадок. Я смогу позаботиться о нем лучше, потому что я знаю.

Тюремщик едва не вошел, но, услышав эти слова, закрыл дверь. С конвульсивной дрожью она сказала:

— О Вивиан, подожди меня секунду. Я буду готова тотчас же.

И она проглотила остаток жидкости.

Услышав еще один хрип, тюремщик вошел в камеру, уже не объявляя о себе стуком. Там он нашел два крепко обнявшихся тела.

Разумеется, было проведено расследование. Были предприняты все шаги, чтобы общественность знала как можно меньше, по причине чуть ли не болезненного интереса к личности заключенного.

Вскрытие показало то, о чем врачи догадывались и так, — что смерть наступила от чрезмерной дозы синильной кислоты. Главным и единственным свидетелем был тюремщик, заявивший следующее:

— Я знаю, что не должен быть этого делать. С самого начала я был уверен, что это его женщина, а не сестра. И потом, она так переживала, что у меня просто не хватило духу отказать. У вас бы тоже не хватило, окажись вы на моем месте, потому что она была страсть как хороша собой и всего-то хотела, чтобы остаться с ним на ночь перед процессом утешить его, что-то вроде того. Я не знал, что она что-то замышляет.

Все же он был уволен. Однако оказалось, что увольнение его совсем не расстроило. Сейчас он владелец одного из самых процветающих кабачков в Ист-Энде.

Власти (если позволено будет дать такое коллективное прозвище множеству людей) решили не придавать этому делу большей огласки, чем того требовалось, особенно когда общественный интерес мог всему повредить. Так что влюбленных погребли без особого дознавания в общей могиле для преступников.

Глава пятая. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выдержка из светского журнала:

«С прискорбием извещаем о печальном происшествии, случившемся с юным лордом Вандрейком. Известный любитель яхт, он стал жертвой несчастного случая в водах Буэнос-Айреса. Бывший с ним лодочник спасся, но самого лорда смыло за борт волной. Показания лодочника мало что дают, ибо он чуть не утонул и поэтому не может связно объяснить случившееся. Тело было торжественно погребено в Буэнос-Айресе, средства на погребение были телеграфированы сэром Джозефом Рэндором, близким родственником усопшего».

— О! — произнесла леди Эсилинда, прочитав заметку. Потом, вскрыв и прочитав письмо, она ответила на него следующим:

«Дорогая леди Гейдж, с Вашей стороны было весьма любезно пригласить Виолу на Ваш вечер. Я согласна с Вами. После всего того, что она пережила, не хотелось бы упоминать о Вивиане, но я обязана. Ей определенно требовалось некоторое отвлечение. Но, говоря, что я с Вами согласна, я с сожалением вынуждена признать, что слишком поздно с Вами соглашаться. Ибо сейчас дело не в отвлечении как средстве исцеления, но в крайнем нервном срыве; я вынуждена была послать ее на побережье под опеку медсестры, где я присоединюсь к ней, как только завершу здесь все дела, и заберу с собой за границу, возможно, в Давос или куда-нибудь еще. С сожалением вынуждена констатировать, что дело настолько плохо, что с возвращением придется повременить.

По возможности мягче сообщайте об этом всем знакомым.

Любящая Вас,
Эсилинда Варгас»

Далеко не всем известно, что мадам Юфразия, хозяйка известного модного магазина, носит, вернее, носила в миру имя Анны Смит и когда-то была в услужении у леди Эсилинды Варгас.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Дэвид Тибет. К русским читателям Эрика Стенбока.</i>	
<i>Перевод Валерия Вотрина</i>	5
<i>Джерemi Рид. Сто лет отсутствия.</i>	
<i>Перевод Валерия Вотрина</i>	7
<i>Гилас. Перевод Валерия Вотрина</i>	13
<i>Нарцисс. Перевод Валерия Вотрина</i>	22
<i>Гибель призвания. Перевод Валерия Вотрина</i>	30
<i>Виола д'аморе. Перевод Валерия Вотрина</i>	35
<i>Яйцо альбатроса. Перевод Валерия Вотрина</i>	42
<i>Правдивая история вампира.</i>	
<i>Перевод Сергея Трофимова</i>	51
<i>Червячок удачи. Перевод Валерия Вотрина</i>	60
<i>Та сторона. Перевод Валерия Вотрина</i>	67
<i>Миф о Панче. Перевод Валерия Вотрина</i>	80
<i>Мазурка мертвецов. Перевод Валерия Вотрина</i>	86
<i>Дитя души. Перевод Сергея Трофимова</i>	108
<i>Жирандола. Перевод Сергея Трофимова</i>	145
<i>Святой Венанций наших дней.</i>	
<i>Перевод Сергея Трофимова</i>	179
<i>История наплечника. Перевод Сергея Трофимова</i>	185
<i>Фауст. Перевод Сергея Трофимова</i>	190
<i>Королевский бастард, или Триумф зла.</i>	
<i>Перевод Валерия Вотрина</i>	208
<i>Сохраненная тайна. Перевод Валерия Вотрина</i>	219

Книги издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications»
можно купить:

в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2
«Пирог на Дмитровке» ул. Б.Дмитровка, дом 12, стр.1
«Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер., 5/7
«Фаланстер» Б.Козихинский пер., д.10
«Книжная лавка при Литинституте им. А.М.Горького»,
Тверской бульвар, дом 25
«У Кентавра», ул. Чайнова, дом 15
«Молодая гвардия», Москва, ул. Б.Полянка, дом 28
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, дом 8
«БУКБЕРИ» Сеть книжных супермаркетов

в Санкт-Петербурге, в магазинах торговой сети «БУКВОЕД» по адресу:

Улица Пестеля, 23
Невский проспект, 13
Кирочная улица, 23
Московский проспект, 172
Лесной проспект, 61, корп. 1
Лиговский проспект, 4
Загородный проспект, 35

в Интернет:

«Ozon» – www.ozon.ru
«Межкнига» – www.mkniga.ru
«Лавка Я+Я» – www.shop.gay.ru/books/

По вопросу оптовых продаж книг издательств
«МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications» обра-
щаться в ООО «БЕРРОУНЗ», телефон 095-104-68-36

Для заказа книг по почте наложенным платежом
редакция просит обращаться по адресу:
170024, г.Тверь, а/я 2448
в интернет: www.mitin.com/request.shtml

Эрик Стенбок ТРИУМФ ЗЛА

KOLONNA Publications: Россия, 170024 Тверь, а/я 24048
Формат 60 X 90/16, объем 15 п. л.,
подписано в печать 01.03.2005 г.
Гарнитура Newton. Тираж 1000 экз. Заказ № 0311
Отпечатано с готовых диапозитивов издательства.
«Тверская фабрика печати»,
170021, г.Тверь, Беляковский пер., 46.
Электронная почта (E-mail) – tfk@tvcom.ru